



ПОЭТИЧЕСКАЯ РОССИЯ

Н. АСЕЕВ

ПОЭТИЧЕСКАЯ  
РОССИЯ



НИКОЛАИ  
АСЕЕВ









ПОЭТИЧЕСКАЯ  
РОССИЯ





Н. АСЕЕВ



Стихотворения

МОСКВА «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ» 1983



Составление, послесловие и примечания  
В. И. Милькова

Гравюра Н. И. Калиты  
Оформление Ю. И. Батова

- Асеев Н. Н.  
A90 Стихотворения/Сост., послесл. и примеч.  
В. И. Милькова.— М.: Сов. Россия, 1983.— 272 с.,  
1 л. портр. (Поэтич. Россия).

Николай Николаевич Асеев (1889—1963) — один из ярких лириков в истории советской поэзии. Автор широко известных стихотворений «Синие гусары», «Русская сказка», «Не за силу, не за качество...», «Еще за деньги люди держатся...», произведений лирико-эпического склада «Лирическое отступление», «Маяковский начинается» и др. В сборник включены наиболее характерные для творчества поэта произведения, воссоздающие дух своего времени.

A 4702010200—193 162—83  
M-105(03)83

P2

## ПУТЬ В ПОЭЗИЮ<sup>1</sup>

Городок был совсем крохотный — всего в три тысячи жителей, в огромном большинстве мещан и ремесленников. В иной крупной деревне народу больше. Да и жили-то в этом городишке как-то по-деревенски: домишки соломой крытые, бревенчатые, на задах огороды; по немощеным улицам утром и вечером пыль столбом от бредущих стад на недалекий луг; размерная походка женщин с полными ведрами студеной воды на коромыслах. «Можно, тетенька, напиться?» И тетенька останавливается, наклоня коромысло.

Город жил коноплей. Густые заросли черно-зеленых мохнатых метелок на длинных ломких стеблях окружали город, как море. На выгоне располагались со своим нехитрым снаряжением свивальщики веревок; за воротами домов побогаче видны были бунты пеньки; орды трепачей, нанятых задешево бродячих людей, сплошь в пыли и кострике, расправляли, счесывали, трепали пеньку. Над городом стоял густой жирный запах конопляного масла — это шумела маслобойка, вращая решетчатое колесо. Казалось, что конопляным маслом смазаны и стриженные в кружок головы, и широкие расчесанные бороды степенных отцов города — почтенных старообрядцев, у которых на воротах домов блеснул медный осьмиконечный крест. Город жил истовой, установленной жизнью.

Малый город, а старинный. Имя ему было Льгов; то ли от Олега, то ли от Ольги название свое вел; верно, был сначала Олегов или Ольгов, но со временем укоротилось слово — проще стало Льговым звать... Вот так и стоял этот старозаветный город, стараясь

---

<sup>1</sup> Статья печатается по изд.: Асеев Н. Стихотворения и поэмы. М., Сов. писатель, 1967. (Б-ка поэта. Большая серия).

жить по старине. Прямо на конопляники выходил он одним краем, и на самом краю, упираясь в чашу конопли, стоял одноэтажный домик в четыре комнаты, где в конце июня 1889 года родился автор этих строк. Не очень отличалось мое детство от жизни десятков соседских ребят, босиком бегавших по лужам после грозового дождя, собиравших «билетики» от дешевых конфет, обложек папирос и пивных ярлыков. Это были меновые знаки разного достоинства. Но действительными ценностями считались лодыжки — выжженные и выбеленные на солнце кости от вареных свиных ножек, продававшиеся парами. Но покупать их находилось охотников мало. Главное — это была игра в лодыжки. Любили и другие игры. Например, поход в конопли, которые представлялись нам заколдованным лесом, где живут чудовища... Так жил мальчонка провинциального города, не барчук и не пролетарий, сын страхового агента и внук фантазера — деда по матери Николая Павловича Пинского, охотника и рыболова, уходившего на добычу на недели в окрестные леса и луга. О нем я написал впоследствии стихи. О нем и о бабке Варваре Степановне Пинской, круглолицей молодой старухе, не утерявшей с годами своего обаяния, голубизны своих доверчивых глаз, энергии своих вечно деятельных рук.

Мать я помню плохо. Она заболела, когда мне было лет шесть, и к ней меня не пускали, так как опасались заразы. А когда я ее видел, она лежала всегда в жару, с красными пятнами на щеках, с лихорадочно сиявшими глазами. Помню, как возили ее в Крым. Меня взяли тоже. Бабушка не отходила от больвой, а я был предоставлен самому себе.

На этом кончается детство. Потом идет ученичество. Оно не было красочным. Средняя школа давно описана хорошими писателями. Разницы здесь немного. Разве что наш француз отличался париком, а немец — толщиной. Но вот математик, он же и директор, запомнился тем, что преподавал геометрию, распевая теоремы, как арии. Оказывается, это было отголоском тех далеких времен, когда учебники еще писались стихами и азбуку учили хором нараспев.

И все же главным моим воспитателем был дед Николай Павло-

вич. Это он мне рассказывал чудесные случаи из его охотничьих приключений, не уступавшие ничуть по выдумке Мюнхгаузену. Я слушал разинув рот, понимая, конечно, что этого не было, но все же могло произойти. Это был живой Свифт, живой Рабле, живой Робин Гуд. Правда, о них я тогда не знал еще ничего. Но язык рассказов был так своеобразен, присловья и прибаутки так цветисты, что не замечалось того, что, может быть, это и не иноземные образцы, а просто родня того Рудого Панька, который так же увлекался своими воображаемыми героями.

Отец играл меньшую роль в моем росте. Будучи страховым агентом, он все время колесил по уездам, редко бывая дома. Но одно утро я запомнил хорошо. Был какой-то праздник, чуть ли не наш именинный день. Мы с отцом собирались к заутрене. Встали раным-рано, сели на крылечке дожидать первого удара колокола к службе. И вот, сидя на этом деревянном крылечке, глядя через конопляник на соседнюю слободу, я вдруг понял, как прекрасен мир, как он велик и необычен. Дело в том, что только что взошедшее солнце вдруг превратилось в несколько солнц — явление в природе известное, но редкое. И я, увидав нечто такое, что было сродни рассказам деда, а оказалось правдой, как-то весь затрепетал от восторга. Сердце заколотилось быстро-быстро.

— Смотри, папа, смотри! Сколько солнц стало!

— Ну что ж из этого? Разве никогда не видал? Это — ложные солнца.

— Нет, не ложные, нет, не ложные, настоящие, я сам их вижу!

— Ну ладно, гляди, гляди!

Так я и не поверил отцу, а поверил в деда.

Учение кончилось, вернее, оборвалось: уехав летом 1909 года в Москву, я скоро перезнакомился с молодежью литературного толка; а так как стихи я писал еще учеником, то и в Коммерческом институте мне было не до коммерции, и в университете, куда я поступил вольнослушателем, — не до вольного слушания. Мы стали собираться в одном странном месте. Литератор Н. Шебуев издавал журнал «Весна», где можно было печататься, но гонорара не полагалось. Там я познакомился со многими начинающими, из которых помню Вл. Лидина; из умерших — Н. Огнева, Ю. Анисимо-

ва. Но не знаю, каким именно образом случай свел меня с писателем С. Бобровым, через него с поэтом Борисом Пастернаком. Пастернак покориł меня всем: и внешностью, и стихами, и музыкой. Через Боброва я познакомился и с Валерием Брюсовым, Федором Сологубом и другими тогдашними крупными литераторами. Раз два бывал в «Обществе свободной эстетики», где все было любопытно и непохоже на обычное. Однако все эти впечатления первого знакомства заслонило вскоре иное. Это была встреча с Владимиром Маяковским. Здесь не место воспоминаниям: о Маяковском я написал особо. Но со времени встречи с ним изменилась вся моя судьба. Он стал одним из немногих самых близких мне людей; да и у него не раз прорывались мысли обо мне и в стихах и в прозе. Наши взаимоотношения стали не только знакомством, но и дружеством по работе. Маяковский всегда заботился о том, как я живу, что я пишу.

Возвращаясь несколько назад, хочу рассказать о первых своих шагах в литературе. Увлекаясь поэзией с малых лет, я обычно читал те стихи, которые помещались в сборниках, так называемых «Чтецах-декламаторах». Они издавались со множеством имен авторов, так или иначе известных в то время. Публика привыкла к именам Башкина и Мазуркевича, поэтов мало прославившихся, но часто печатавшихся. Мне нравились в этих сборниках стихи А. К. Толстого, очень популярного тогда поэта-русофила, обращавшегося к темам Древней Руси, к славянским сюжетам. В его стихах воспевалась удаль и молодечество наших дедов, богатырские подвиги предков. В них, однако, по-своему трактовались и смешные стороны старинных дьяков и бояр, иногда прямо обличающие взяточничество и лихоимство; сквозь эти давние повадки просвечивало порой обличение современных поэту порядков. Легкие, плясовые ритмы стихов А. К. Толстого, их необычное содержание вызвали желание самому попробовать писать нечто похожее, веселое, буйное и задавающее. Так началась тяга к славянщине, к летописям, к истории слова. Немало сделало чтение гоголевского «Тараса Бульбы», «Страшной мести», навсегда ставших для меня образцами поэзии. Пушкина я воспринимал недостаточно чутко; Лермонтов казался мрачным и недоступным; и Гоголь пленял

пока еще только фантастичностью своих описаний. Все это относится к годам юности; однако нужно сказать, что именно тогда происходило становление моего литературного вкуса и понимания читаемого, хотя я по-прежнему декламировал самому себе строчки Мазуркевича о том, что: «Так солгать могла лишь мать, полна боязни, чтоб сын не дрогнул перед казнью!» Меня увлекало это придуманное и приукрашенное геройство, как нравится всем юношам преувеличенное и преумноженное чувство гражданского подвига.

Другим характерным ощущением было расставание с понятием о боге. Уже сознавая, что божества всех времен созданы человеческой фантазией, я все еще не мог представить, что остается взамен от этого понятия. Бога нет, — это ясно; но что же есть? Человек, — это я вижу и знаю; но человек ведь смертен и, значит, преходящ, как все земное. А что же не переходит века и века? Ведь должно же быть нечто, не уничтожаемое временем! Эти размышления и сомнения создавали те стихи, которые характерны для начала моего творчества. Это были богохульные, с точки зрения религии, произведения, но это все-таки были стихи о боге, и они могут вызвать недоумение у читателя. «Торжественно» (1915), «Объявление» (1915), «Скачки» (1916), «Откровение» (1916) и целый ряд других стихотворений свидетельствуют о борениях и сомнениях незрелого еще разума, но полного искреннего желания разобраться в неведомом. К этому надо добавить славянские тексты летописей, проглатываемых мною, как белка проглатывает раскусенный орех, — а ведь в этих текстах были заложены основы поэзии. Так создавались стихи о запорожцах-ворогах («Звенчаль», 1914), о смерти Андрия Бульбы («Песня Андрия», 1914), о старине и родине, расступавшейся перед мысленным взором необычайными просторами своих сказаний, вымыслов, преданий, подлинных событий. Так формировался вкус и симпатии.

Об этом я должен рассказать читателю, которому иначе не все будет ясно, особенно в некоторых стихах первого тома, моих ранних вещах. В них главным для меня был поиск своего стиха, своего способа высказаться. Отсюда — недомолвки и нелогические возгласы стиха, которому нащупывался путь в будущее. Мне хотелось своих слов, своих, неизбежных выражений чувств — и вот рождались

и слова и отдельные сочетания их, непохожие на общепринятые: «леторей», «грозува», «шерешь», «сумрова», «сутемь», «порада», «сверкаты», «повага», «дивень», «лыба», — все слова из летописей и старинных сказок, которые хотелось обновить, чтобы наряду с привычными, обиходными — зазвучали они, забытые, но так сильно запоминаемые своими смысловыми оттенками. Так прошел первый период учебы у летописей, у старинного говора орловско-курских речений, которыми в совершенстве владел мой дед.

Потом подошла империалистическая война. В 1915 году меня забрали в армию. Попад в полк, я в солдатской среде стал лицом к лицу с народным характером и настроением. Там не было «патриотов», да и самое слово-то было почти ругательным. К патриотизму призывали командиры среднего состава, обучавшие солдат, да генералы во время смотров. В самой же серошинельной массе это слово произносилось разве что издевательски. Почему так случилось? Во-первых, потому, что официальный язык газет и плакатов был чужд сердцам солдат; а во-вторых, потому, что и слова-то такого в обиходном разговоре не существовало. Царская война была непопулярна в народе, с фронта поступали известия о недостатке снарядов, обмундирования, продовольствия. Ходили слухи об измене среди высших чиннов. Фамилия Мясоедова все чаще упоминалась в солдатском разговоре. Какие уж тут патриотические чувства! Империя готова была рушиться. Защищать ее охотников становилось все меньше. А понятия «родина», «отечество» связывались именно с царизмом, с дворянским и капиталистическим строем. Среди солдат отсутствовали героические настроения в защиту того, что явственно упало в своем бывшем величии.

Видимо, поэтому и стало у меня в стихах появляться сознание этого «солдатского» настроения.

*Меняем прицел небосвода  
на сумерки: тысячу двадцать!  
Не сердцу ль чудес разорваться  
за линией черного года?*

Так писал я тогда в стихотворении «Боевая сумрова» (1915), представляя будущее, которое придет в результате обстрела време-

ни, в результате разрушения черного гзда войны. Конечно, это было мало понятно даже и самому автору. Но солдатам как-то было доступно. Может быть, только потому, что в их среде нашелся поэт. А может быть, и потому, что сердцем они чувствовали гнев и ненависть к переживаемому и надежду на будущее, когда разорвется чудо грядущего дня. Но всего не объяснишь в прозе. Тогдашние стихи мои о войне, во всяком случае, не восхваляли ее.

*Серп на ущербе притягивает моря,  
и они взойдут на берег, шелками злупая.  
Вот волн вам, их ропот покоряя,  
привидится эскадра белотрубая.  
Герб серба сорвала слишком грубая  
рука. Время Европе расшвырять!*

Это стихотворение называлось «Об 1915 годе». О чем оно? О предельной нелепице происходящего; о современниках, которым придется увидеть рушащиеся в огне здания, бесконечные бедствия войны, когда в моря выйдут эскадры изрыгать тяжелые снаряды, когда из-за ничтожного повода, спровоцированного на сербской земле, поднимется вся Европа, вовлекая в борьбу и нас, и Америку, и все народы. Читатель может спросить: но откуда же это все можно видеть в спотыкающихся от волнения, неразборчивых словах? Да, видеть этого, к сожалению, а вернее, к счастью, вновь нельзя. Но почувствовать тем сердечным волнением, которое пережил пишущий, мне кажется, можно. Если, разумеется, читатель внимателен к автору, к его усилиям передать неповторимое.

Война была в разгаре. В городе Мариуполе мы проходили обучение в запасном полку. Затем нас отправили в Гайсин, ближе к австрийскому фронту, чтобы сформировать в маршевые роты. Я подружился со многими солдатами, устраивал чтения, даже пытался организовать постановку сказки Льва Толстого о трех братьях, за что сейчас же был посажен под арест. Из-под ареста я попал в госпиталь, так как заболел воспалением легких, осложнившимся вспышкой туберкулеза. Меня признали негодным к солдатине и отпустили на поправку, а на следующий год переосвидетельствовали и вновь послали в полк. Там я прослужил до марта



1917 года, когда был избран в Совет солдатских депутатов от 34-го стрелкового полка. Начальство, видимо, решило избавиться от меня и дало направление в иркутскую школу прапорщиков. Февральская революция не прошла для нас даром. На фронт наш полк идти отказался, и я с командировкой в Иркутск отправился на восток. «...Серая солдатская шинель выучила и образовала», — писал я позже о тех днях. И не поехал я в школу прапорщиков, а сел с молоденькой женой в вагон и двинулся до Владивостока, наивно полагая поехать будущей зимой на Камчатку...

Но первая мировая война шла к концу. Началась Октябрьская революция. В ней нам, молодежи тех лет, увиделась перемена всего, что до сих пор считалось незыблемым и неопровержимым. Как же было не задохнуться от счастья, не колотиться сердцу от того, что мечталось и ожидалось! И стихи о революции писались, как рапорт народу:

*Была пора злая,  
была пора немая,  
но цвел, благоухая,  
рабочий праздник мая.*

Это был мой «Первомайский гимн» — гимн новому. Хлебников еще в апреле 1917 года писал о том, что

*Мы, воины, строго ударим  
Рукой по суровым щитам:  
Да будет народ государем  
Всегда, навсегда, здесь и там!*

И вот теперь народ стал действительно государем своей судьбы. Все солдатские сердца отозвались бы на этот призыв. А солдатских сердец были миллионы. Именно солдатских, а не генеральских и адмиральских, не лиц высшего командного состава, лишившихся своих приварков и казенного довольствия.

По солдатской литературе проехал я всю Сибирь и докатил до самого океана. И тут, на Дальнем Востоке, куда я добрался к осени 1917 года, уже начинается писание стихов, не требующих разъяснений и уточнений. Хотя и в них встречаются вещи, не совсем

совпадающие с обычным представлением о стихосложении. Остались следы поисков и звука и смысла, по-своему ощущенного и высказанного. А без этого и нету никакого творчества. Если все уже известно и слышано, то какая же новость в поэзии! Об этом отличии стиха от прозы замечательно сказал выше ста лет тому назад великий русский свободный ум — А. И. Герцен:

«Досадно, что я не пишу стихов,— говорил он в повести «Поврежденный» (1851), описывая природу средиземноморского побережья.— Речи об этом крае необходим ритм, так, как он необходим морю, которое мерными стопами во веки нескончаемых гексаметров плещет в пышный карниз Италии. Стихами легко рассказывается именно то, чего не уловишь прозой... Едва очерченная и замеченная форма, чуть слышный звук, не совсем пробужденное чувство, еще не мысль... В прозе просто совестно повторять этот лепет сердца и шепот фантазии».

Так понимают чуткие умы лучших людей поэзию. У них мы учились и будем учиться.

Приехав во Владивосток, я пошел в Совет рабочих и солдатских депутатов, где получил назначение помощника заведующего биржей труда. Что это было за заведование — вспомнить стыдно: не знающий ни местных условий, ни вновь нарождавшихся законов, я путался и кружился в толпах солдатских жен, матерей, сестер, в среде шахтеров, матросов, грузчиков порта. Но как-то все же справлялся, хотя не знаю до сих пор, что это была за деятельность. Выручила меня поездка на угольные копи. Там я раскрыл попытку владельца копей прекратить выработку, создав искусственный взрыв в шахте. Вернулся во Владивосток уже уверенным в себе человеком. Начал работать в местной газете, вначале литсотрудником, а в дальнейшем, при интервентах, даже редактором «для отсидки» — была такая должность. Но взамен я получил право печатать стихи Маяковского, Каменского, Неизвестного. Когда приехал во Владивосток Сергей Третьяков, нами был организован маленький театрик — подвал, где мы собирали местную молодежь, репетировали пьесы, устраивали конкурсы стихов. Но вскоре эти затеи приостановились. Началась интервенция, газета подвергалась репрессиям, оставаться, хотя бы и номинальным редактором,

было небезопасно. Мы с женой переселились из города на 26-ю версту, жили не прописавшись, а затем получили возможность выехать из белогвардейских тисков в Читу, бывшую тогда столицей ДВР — Дальневосточной республики.

Оттуда при содействии А. В. Луначарского я был вызван в Москву как молодой писатель. Здесь и возобновилось мое прерванное на ряд лет знакомство с Маяковским. Он знал, что на Дальнем Востоке я читал его «Мистерию-буфф» рабочим Владивостокских временных мастерских, знал, что печатал отрывки из «Человека» в газете, что читал лекции о новой поэзии во Владивостоке, — и сразу принял меня как родного. Затем началась работа в Лефе, в газетах, в издательствах, которую опять-таки возглавлял Маяковский, неотступно, как пароход баржу, буксируя меня всюду с собою. Я объезжал с ним города Союза — Тулу, Харьков, Киев; совместно с ним выпустил несколько агитационных брошюр.

Неизменная товарищеская заботливость продолжалась до конца его жизни. Благодаря ему было издано много моих книг. Позже я написал о нем поэму, чтобы хоть отчасти восполнить свой долг перед ним. Без него мне стало труднее. И, несмотря на знаки внимания со стороны товарищей по литературе, я так никогда и не оправился от этой потери. Это невосвратимо и неповторимо.

На этом, собственно, и заканчивается моя автобиография. Все остальное лишь варианты главного.

1957—1962  
Москва

НИКОЛАЙ АСЕЕВ

## СТИХОТВОРЕНИЯ



# НОЧНАЯ ФЛЕЙТА

## 1914

---

### СТАРИННОЕ

*Юлиану Анисимову*

В тихом поле звонница  
точит малый звон...  
Все меня сторонятся,  
любил — только он.  
Он детина ласковый,  
тихой да простой, —  
против слова царского  
знался с сиротой.  
Вышел царь на красное  
широкое крыльцо:  
потемнело властное  
царское лицо;  
и, махнувши белою  
жестокой рукой,  
пустил душу смелую  
на вечный покой.

Не заплачу, не покаюсь, грозный царь,  
схороню лихую петлю в алый ларь,  
схороню под сердцем злобу да тоску,  
перейду к реке по белому песку,  
кину кольца, кину лалы да янтарь —  
не ласкать меня, пресветлый государь!

**1910**

## МОСКВЕ

*Константину Локс*

И ты передо мной взметнулась,  
твердыня дремная Кремля,—  
железным гулом содрогнулась  
твоя священная земля.  
«Москва!» — и голос замирает,  
и слова выпретенного нет,  
взор опаленный озирает  
следы величественных бед;  
ты видела, моя столица,  
у этих древних алтарей  
цариц заплаканные лица  
и лики темные царей;  
и я из дальнего изгнанья,  
где был и принят и любим,  
пришел склонить воспоминанья  
перед безмолвием твоим...  
А ты несешь, как и когда-то,  
над шумом суетных шагов  
соборов сумрачное золото  
и бармы тяжкие снегов.  
И вижу — путь мой не случаен,  
как грядет в ночь Иван: «Прийди!»  
О, мать! — дитя твоих окраин  
тоскует на твоей груди.

*1911*

## ФАНТАСМАГОРИЯ

*Н. С. Гончаровой*

Летаргией бульварного вальса  
усыпленные лица подернув,  
в электрическом небе качался  
повернувшийся солнечный жернов;  
покивали, грустя, манекены  
головами на тайные стражи;  
опрокинулись тучами стены,  
звезды стали, стеная, в витражи;  
над тоскующей каменной плотью,  
простремглавив земное кружение,  
магистралью на бесповоротье  
облаками гремело забвенье;  
под бичами крепчающей стужи  
коченел бледный знак Фаренгейта,  
и безумную песенку ту же  
выводила полночная флейта.

*1913*



### ЗВЕНЧАЛЬ

Тулумбасы, бей, бей,  
запороги, гей, гей!  
Запороги-вороги —  
головы не дороги.

Доломаны — быстрь, быстрь,  
похолоним Истрь, Истрь!  
Харалужье паново  
переметим наново!

Чубовье раскрутим,  
разовьем хоругвь путем,  
а тугую сутемь  
раньше света разметим!

То ли не утеха ли,  
соловейко-солоду,  
то ли не порада ли,  
соловейко-солоду!

По грудям их ехали —  
по живому золоту,  
ехали не падали  
по глухому золоту!

Соловее, вей, вей,  
запороги, гей, гей!  
Запороги-вороги —  
головы не дороги.

1914

## ГРЕМЛЪ

Пламенный пляс скакуна,  
проплескавшего плашменной лапой;  
над душой — вышина,  
верхоглавье весны светлошапой.

В этом тихом дождике —  
ах, какая жалость! —  
ехал на извозчике —  
сердце разорвалось.

Не палят сияния  
на Иван Великий;  
просят подаяния  
хитрые калики.

Точат пеню слезную,  
а из глоток — пламя,  
движут силу грозную,  
машут костылями.

«Пейте, пейте бесиво,  
сучьи перебежки,  
прокатайтесь весело  
в чертовой тележке!

Напивайтесь допьяна  
бешеною сытой,  
а князьевы копы на  
попадет упитый!»

Дни и ночи бегая,  
не уйдешь от чуда...  
Гей, лошадка пегая,  
увози отсюда!

Двери глухо заперты,  
пожелтели книги,  
никогда на паперти  
не звенят вериги.

Галстучек горошками  
ветриво трепался,  
поднимал над рожками,  
поднимал три пальца.

Там над половодьями  
холодела давечь,  
пало под ободьями,  
пало тело навзничь.

Над Иваном растет вышина,  
то под небом, слезою омытом,  
то огонь острогонь скакуна  
из весны выбивает копытом.

1914

\* \* \*

Не спасти худым ковуям  
стольный град.  
Нынче ночью зацелуем  
ваших лад.

*1914*

## ЛЕТОРЕЙ

### 1915

---

#### ОБЪЯВЛЕНИЕ

Я запретил бы «Продажу овса и сена»...  
Ведь это пахнет убийством Отца и Сына?  
А если сердце к тревогам улиц пребудет глухо,  
руби мне, грохот, руби мне глупое, глухое ухо!

Буквы сигают, как блохи,  
облепили беленькую страничку.  
Ум, имеющий привычку,  
притянул сухие крохи.

Странноприимный дом для ветра  
или гостиницы весны —  
вот что должно рассыпать щедро  
по рынкам выросшей страны.

1915

#### МОРСКОЙ ШУМ

*(Вступление)*

Две слабости: шпилек и килек...  
А в горячее лето  
море целит навывлет  
из зеленого пистолета.

Но, схвативши за руку ветер,  
позабывшее все на свете,

в лицо ему мечет и мечет  
лето — горячие речи.

О, море — как молодец! Весь он  
встряхнул закипевшие кудри,  
покрытый ударами песен  
о гневом зазнавшемся утре.

Ты вся погружаешься в пену,  
облизанная валами,  
но черпую похоти веку  
мечтой рассеку пополам я.

И завтра, как пристани взмылят,  
как валом, привалится грудь:  
навылет, павылет, навывлет  
меня расстрелять не забудь!

*1915*

## ЧЕТВЕРТАЯ КНИГА СТИХОВ 1916

---

### ПОВЕЙ ВОЯНА

*(Вступление)*

Еще никто не стиснул брови  
врагам за думой одолеть их,  
когда, шумя стаканом крови,  
шагнуло пьяное столетье.

Как старый лекарь ржавым шилом,  
увидя знак болезни тяжкой,  
он отворил засовы жилам  
и бросил сгустки в неба чашку.

Была страна, как новый рой,  
курилась жизнь, как свежий улей;  
ребенок утренней порой  
игрался с пролетавшей пулей.

Один поет любовь, любовь,  
любовь во что бы то ни стало!  
Другой — мундира голубого  
сверкает свежестью кристалла.

Но то — рассерженный грузин,  
осиную скосивши талью,  
на небо синее грозил,  
светло отплевываясь сталью.

Но то — в пределы моряка,  
знамена обрывая в пену,  
вкатилась вольности река,  
смывая гибель и измену.

Еще смертей двойных, тройных  
всходил опары воздух сдобный,  
а уж труба второй войны  
запела жалобно и злобно.

Пускай тоски, и слез, и сна  
не отряхнешь в крови и чаде:  
мне в ноги брякнулась весна  
и молит песен о пощаде.

1916

\* \* \*

Еще! Исковерканный страхом,  
колени молю исполина:  
здесь все рассыпается прахом  
и липкой сливается глиной!

Вот день: он прополз без тебя ведь,  
упорный, весенний и гладкий.  
Кого же мне песней забавить  
и выдумать на ночь загадки?

А вечер, в шелках раздушенных  
кокетлив, невинен и южен,  
расцветши сквозь сотни душонок,  
мне больше не мил и не нужен.

Притиснуть бы за руки небо,  
опять наигравшее юность,



спросить бы: «Так боль эта — пебыль?» —  
и — жизнью в лицо ему плюнуть!

Зажать голубые ладони,  
чтоб выдавить снежную проседь,  
чтоб в зимнем зашедшемся стоне  
безумье услышать — и бросить!

А может, мне верить уж не с кем,  
и мир — только страшная морда,  
и только по песенкам детским  
любить можно верно и твердо:

«У облак темнеют лица,  
а слезы, ты знаешь, солены ж как!  
В каком мне себе залиться,  
сестрица моя Аленушка?»

1916

\* \* \*

За отряд улетевших уток,  
за сквозной поход облаков  
мне хотелось отдать кому-то  
золотые глаза веков...

Так сжимались поля, убегая,  
словно осенью старые змеи,  
так за синюю полу гая  
ты схватилась, от дали немея.

Что мне стало совсем не страшно:  
ведь какие слова ни выстрой —  
все равно стоят в рукопашной  
за тебя с пролетающей быстрью.

А крылами взмахнувших уток  
мне прикрыла лишь осень очи,  
но тебя и слепой — зову так,  
что изорвано небо в клочья.

*1916*

## ЧЕРЕЗ ГРОМ

Как соловей, расцеловавший воздух,  
коснулись дни звенящие твои меня,  
и я ищу в качающихся звездах  
тебе узор красивейшего имени.

Я, может, сердцем дотла изолган:  
вот повторяю слова — все те же,  
но ты мне в уши ворвалась Волгой,  
шумишь и машешь волною свежей.

Мой голос брошен с размаху в пропасть,  
весь в черной пене качает берег,  
срываю с сердца и ложь и робость,  
твои повсюду сверкнули серьги.

По горло волны! Пропой еще, чем  
тебя украсить, любовь и лебедь.  
Я дней, закорчившихся от пощечин,  
срываю нынче ответы в небе!

*1916*

# ОКСАНА

## 1916

---

*Ксении Михайловне Синяковой*

### КРЕМЛЕВСКАЯ СТЕНА

#### 1

Тобой очам не надивиться,  
когда, закатамн увит,  
на богатырской рукавице  
ты — кровью вычервленный щит!

И эти царственные грани,  
подъемля древний голос свой,  
ведут мой дух в былые брани,  
в разгул утехы громовой.

И мнится: к плачущему сыну  
склонясь, лукавый Калита  
поет грядущую былину  
необоримого щита.

#### 2

И мнится: шумною ратью  
поем и цедим вино;  
и все — крестовые братья,  
и все — стоим за одно.

Но вдруг — в разгаре пирушки,  
в ответ на далекий рев —  
протяжно завоют пушки  
с зеленых твоих валов.

И пурпур башни обличет,  
ты встанешь — странно светла:  
в тот миг мне горло провижет  
замолкнувшая стрела.

1916

\* \* \*

Ой, в пляс, в пляс, в пляс!  
Есть князь, князь, князь,  
светлоумный, резвоногий,  
нам его послали боги!

Ой, ясь, ясь, ясь!  
Есть князь, князь, князь!  
Как твой первый бег,  
буди быстр весь век.

Как ты всех упрежал,  
пред тобою кусты  
под покровом тьмы  
преклонялися,  
а до нас добежал,  
светлоликий ты,—  
пред тобою мы  
рассмеялися.

Ой, в пляс, в пляс, в пляс!  
Есть князь, князь у нас,  
светлоликий, резвоногий,  
нам его послали боги!

1914

\* \* \*

Перуне, Перуне,  
Перуне могучий,  
пусти наши стрелы  
за черные тучи.

Чтоб к нам бы вернулись  
певучие стрелы,  
на каждую выдай  
по лебеди белой.

Чтоб витязь бы ехал  
по пяди от дому,  
на каждой бы встретил  
по туру гнедому.

Чтоб мчались кони,  
чтоб целились очи,—  
похвалим Перуна,  
владельца мочи.

*1914*

\* \* \*

Ушла от меня, убежала,  
не надо, не надо мне клятв!  
У пчел обрываются жала,  
когда их тревожат и злят.

Но эти стихи я начал,  
чтоб только любить иначе,  
и злобой своей не очень.  
по ним разгуляется осень.

*1916*

Я буду волком или шелком  
на чьем-то теле незнакомом,  
но без умолку, без умолку  
возникнет память новым громом.

Рассыпсья слабостью песка,  
сплывись беспамятностью глины,  
но станут красные калины  
светиться заревом виска.

И мой язык, как лжи печать,  
сгниет заржавевшим железом,  
но станут иволги кричать,  
печаль схвативши в клюв за лесом.

Они замрут, они замрут —  
последний зубр умолк в стране так,  
но вспыхнет новый изумруд  
на где-то мчащихся планетах.

Будет тень моя беситься  
дни вперед, как дни назад,  
ведь у девушки-лисицы  
вечно светятся глаза.

*1916*

# БОМБА

## 1921

---

### СЕГОДНЯ

Сегодня — не гиль позабытую разную  
о том, как кончался какой-то угодник,  
нет! Новое чудо встречают и празднуют —  
румяного века живое «сегодня».

Грузчик, подвнявший смерти куль,  
забежавший по неба дрожащему трапу,  
стоит в ореоле порхающих пуль,  
святым протянув заскорузлую лапу.

Но мне ли томленьем ангельских скрипок  
завешивать уши шумящего города? —  
Сегодня раскрашенных ярко криков  
сплошная сквозь толпы идет когорта.

Товарищ — Солнце! Выведи день,  
играющий всеми мускулами,  
чтоб в зеркале памяти — прежних  
дребедень  
распалась осколками тусклыми.

Товарищ — Солнце! Высуши слез влагу,  
чьей луже душа жадна.  
Виват! Огромному красному флагу,  
которым небо машет нам!

1921

## ПРЕДЧУВСТВИЯ

### 1

Деревня — спящий в клетке зверь,  
во тьме дрожит, и снится кнут ей,  
но вспыхнет выстрел, хлопнет дверь,  
и — дрогнут сломанные прутья...

То было раз — и той поры  
зажженных жил так яростный запах!  
То не ножи и топоры,  
то когти на сведенных лапах.

И только крик — и столько рук  
подымутся из древней дали,  
и будет бить багор и крюк,  
сбивая маревое медалей.

И я по лицам узнаю  
и по рубашкам кумачовым —  
судьбу грядущую свою,  
протоптанную Пугачевым.

И на запекшейся губе,  
и пыльной, как полынь, и горькой,  
усмешку чую я себе,  
грозящую кровавой зорькой.

Деревня — опаленный зверь,  
во тьме дрожит, и снится кнут ей,  
но грянет выстрел, хлопнет дверь,  
и — когти брошены на прутья.



Какой многолетний пожар мы:  
сведенные мужеством брови,  
и — стены тюрьмы и казармы  
затлели от вспыхнувшей крови.

И кровь эта смелых и робких!  
И кровь эта сильных и слабых!  
О, жизнь на подрезанных пробках,  
в безумия скорченных лапах!

И кровь эта мечется всюду,  
и морем ее не отмоют,  
и кровь эта ищет Иуду,  
идущего с серебром тьмою.

И вы, говорившие: «Пуль им!» —  
и вы, повторявшие: «Режь их!» —  
дрожите, прильнувши к стульям,  
увидев поход этих пеших.

Кто жаждет напиться из лужиц,  
тот встретит преграду потока, —  
сумейте же будущий ужас  
познать во мгновение ока!

Ведь если пощады в словах нет,  
ведь если не выплыть из тины, —  
припомните: ржавчиной пахнет  
затупленный нож гильотины.

1916

## НЕБО РЕВОЛЮЦИИ

Еще на закате мерцали...  
Но вот — почернело до ужаса,  
и все в небесном Версале  
горит, трепещет и кружится.

Как будто бы вечер дугою  
свободу к зениту взвез:  
с неба — одна за другою  
слезают тысячи звезд!

И как над горящею Францией  
глухое лицо Марата,—  
среди лихорадящих в трансе  
луна — онемевший оратор.

И мир, окунувшись в мятеж,  
свежеет щекой умытенькой;  
потухшие звезды — и те  
послов прислали на митинги.

Услышьте сплетенный в шар шум  
шагов без числа и сметы:  
то идут походным маршем  
к земле — на помощь — планеты.

Еще молчит тишина,  
но ввысь — мечты и желания,  
и вот провозглашена  
Великая Океания.

А где-то, как жар валюты,  
на самой глухой из орбит,  
солнце кровавым Малютой  
отрекшееся скорбит!

1917

## СТИХИ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ

### 1

Выстрелом дважды и трижды  
воздух разорван на клочья...  
Пули ответной не выждав,  
скрылся стрелявший за ночью.

И, опираясь об угол,  
раны темнея обновкой,  
жалко смеясь от испуга,  
падал убитый неловко.

Он опускался, опускался,  
и небо хлынуло в зрачки.  
Чего он, глупый, испугался?  
Вон звезд веселые значки,

А вот земля совсем сырая...  
Чуть-чуть покалывает бок.  
Но землю с небом, умирая,  
он все никак связать не мог!

### 2

Ах, еще, и еще, и еще нам  
надо видеть, как камни краспы,  
чтобы взором, тоской не крещеным,  
переснились бы страшные сны.

Чтобы губы, не знавшие крика,  
превратились бы в гулкую медь,  
чтоб от мала бы всем до велика  
ни о чем не осталось жалеть.

Этот клыч — не упрек, не обида!  
Это — волк завывает во тьме,  
под кошмою кошмара завидя  
по снегам зашагавшую смерть.

Он, всю жизнь по безлюдью кочуя,  
изучал издалека врагов  
и опять из-под ветра почуял  
приближенье беззвучных шагов.

Смерть несет через локоть двустволку,  
немы сосны, и звезды молчат.  
Как же мне, одинокому волку,  
не окликнуть далеких волчат!

### 3

Тебя расстреляли — меня расстреляли,  
и выстрелов трели ударились в дали,  
даль растерялась — расстрелилась даль,  
но даже и дали живому не жаль.

Тебя расстреляли — меня расстреляли,  
мы вместе любили, мы вместе дышали,  
в одном наши щеки горели бреду.  
Уходишь? И я за тобою иду!

На пасмурном небе затихнувший вечер,  
как мертвое тело, висит, изувечен,  
и голубь, летящий изломом, как кричит,  
и зверь, изрыгающий скверные речи.

Тебя расстреляли — меня расстреляли,  
мы сердце о сердце, как время, сверяли,  
и как же я встану с тобою, расстрелян,  
пред будущим звонким и свежим апрелем?!

Если мир еще нами не занят  
 (нас судьба не случайно свела) —  
 ведь у самых сердец партизанят  
 наши песни и наши дела!

Если кровь напоенной рубахи  
 заскорузла в заржавленный лед —  
 верь, восставший! Размерены взмахи,  
 продолжается ярый полет!

Пусть таежные тропы кривые  
 накаляются нашим огнем...  
 Верь! Бычачью вселенскую выю  
 на колене своем перегнем!

Верь! Поэтово слово не сгинет.  
 Он с тобой — тот же загнанный зверь.  
 Той же служит единой богине  
 бесконечных побед и потери!

1921

• • •

Еще и осени не близко,  
 еще и свет гореть — не связан,  
 а я прочел тоски записку,  
 потерянную желтым вязом.

Не уроплю такого взора,  
 который — прах, который — шорох.  
 Я не хочу земного сора,  
 я никогда не встречу сорок.

Когда ж зевнет над нами осень,  
я подожду над миром косы,  
я посажу в твои зепицы  
такие сипие синицы!

1919

## ЗАРЖАВЛЕННАЯ ЛИРА

### 1

Осень семепамп мыла мпли,  
облако лукавое блукало,  
ропци черноручье заломпи,  
вдалеке заслушавшись звукала.

Солнце шлялось целый день без дела.  
Было ль солнца что светлей и краше?..  
А теперь — скулой едва прордело,  
и — закат покрылся в красный кашель.

Синый лаз бессопного залива  
впился в небо полумертвым взглядом.  
Сивый берег, усмехнувшись криво,  
с ним улегся неподвижно рядом...

Исхудавший, тонкий облик мира!  
Ты, как тень, безмочен и беззвучен,  
ты, как та заржавленная лира,  
что гремит в руках морских излучин.

И вот —  
завод  
стальных гибчайших песен,  
и вот —  
зевот

осенних мир так пресен,  
и вот —  
ревет  
ветров крепчайших рев...  
И вот —  
гавот  
на струнах всех деревьев!

2

Не верю ни тленью, ни старости,  
ни воплю, ни стону, ни плену:  
вон — ветер запутался в парусе,  
вон — волны закутались в пену.

Пусть валится чаек отчаянье,  
пусть хлюпает хлябями холод —  
в седое пучины качанье  
бросаю тяжелый стихов лот.

А мы на волне покачаемся,  
посмотрим, что будет, что станет.  
Ведь мы никогда не кончаемся,  
мы — роль напряженных блистанья!

А если мипутною робостью  
скуют нас сердца с берегами —  
вскипим! И над синею пропастью  
запляшем сухими ногами.

3

И, в жизнь окунувшийся разом,  
во тьму жемчуговых глубин,  
под племом стальным водолаза  
дыши, и ищи, и люби.

Оксана! Жемчужина мира!  
И, воздух на волны дробя,  
на дне Малороссии вырыл  
и в песню оправил тебя.

Пусть по дну походка с развальцем,  
пусть сумрак подводный так сыр,  
но солнце опалом на пальце  
сияет на синий мир.

А если не солнцем — медузой  
ты станешь во тьме голубой, —  
я все корабли поведу  
за бледным сияньем — тобой.

4

Тысячи верст и тысячи дней  
становятся все видней...  
Тысячи душ и тысячи тел...  
Рой за роем героев взлетел.

В голубенький небесный чепчик  
с прошивкой облачного кружевца  
одевшись,  
малый мир  
все крепче  
зажать в ручонки землю тужится.

А —  
старый мир  
сквозь мертвый жемчуг  
угасших звезд, что страшно кружатся,  
на малыша глядит и шепчет  
слова проклятия и ужаса.

1920



## ПЕРВОМАЙСКИЙ ГИМН

Была пора глухая,  
была пора немая,  
но цвел, благоухая,  
рабочий праздник мая.

Осыпаны снегами,  
окутаны ночами,  
встречались мы с врагами  
грозящими очами.

Но встал свободы вестник,  
подобный вешним водам,  
винтами мрачных лестниц  
взлетевший по заводам.

От слов его синели  
и плавилась металлы,  
и ало пламенели  
рабочие кварталы.

Его напевы проще,  
чем капли снеготая,  
но он запел — и площадь  
замолкла, как пустая.

Рабочие России,  
мы жизнь свою ломаем,  
но будет мир краснвей,  
цветущий Первым маем!

Не серый мрамор крылец,  
не желтый жир паркета —  
для нас теперь раскрылись  
все пять объятий света.

Разрушим смерть и казни,  
сорвем клыки рогаток,—  
мы правим правды праздник  
над праздностью богатых.

Не загремит «ура» у них,  
когда идет свобода.  
Он вырван, черный браунинг,  
из рук врагов народа.

И выбит в небе дней шаг,  
и нас сдержать не могут:  
везде сердца беднейших  
ударили тревогу.

Над гулом трудных будней  
железное терпенье  
полней и многотрудней  
машина шипящих пеня.

Греми ж, земля глухая,  
заводов дым вздымая,  
цвети, благоухая,  
рабочий праздник мая!

1920

## КУМАЧ

Красные зори,  
красный восход,  
красные речи  
у Красных ворот,  
и красный,  
на площади Красной,  
народ.

У нас пирогами  
изба красна,  
у нас пад лугами  
горит весна.

И красный кумач  
на клиньях рубах,  
и сходим с ума  
о красных губах.

И в красном лесу  
бродит красный зверь...  
И в эту красу  
прошумела смерть.

Нас толпами сбили,  
согнали в ряды,  
мы красные в небо  
врубили следы.

За дулами дула,  
за рядом ряд,  
и полымем сдуло  
царей и царят.

Не прежнюю спесью  
наш разум строг,  
но новые песни  
все с красных строк.

Гляди ж, дозирая,  
веков Калита:  
вся площадь до края  
огнем налита!

Краснейте же, зори,  
закат и восход,

краснейте же, души,  
у Красных ворот!

Красуйся над миром,  
мой красный народ!

*1921*

# СТАЛЬНОЙ СОЛОВЕЙ

## 1922

---

### РОССИЯ ИЗДАЛИ

Три года гневалась весна,  
три года грохотали пушки,  
и вот — в России не узнать  
пера и голоса кукушки.

Заводы весен, песен, дней,  
отрите каменные слезы:  
в России — вора голодней  
земные груди гложет озимь.

Россия — лен, Россия — синь,  
Россия — брошенный ребенок,  
Россию, сердце, возноси  
руками песен забубенных.

Теперь там зори поднял май,  
теперь там груды черных пашен,  
теперь там — голос подымай,  
и мир другой тебе не страшен.

Теперь там мчатся ковыли,  
и говор голубей развежан,  
и ветер пену шевелит  
восторгом взмыленных черешен.

Заводы, слушайте меня —  
готовьте пламенные косы:  
в России всходят зеленыя  
и бредят бременем покоса!

*Владивосток*  
*1920*

## О НЕМ

Со сталелитейного стали лететь  
крик, кровью окрашенные,  
стекало в стекольных, и падали те,  
слезой поскользнувшись страшною.

И был соловей, живой соловей,  
он бил о таком и об этаким:  
о небе, горящем в его голове,  
о мыслях, ползающих по веткам.

Он думал: крылом — весь мир обовью,  
весна ведь — куда ни кинешься...  
Но велено было вдруг соловью  
запеть о стальной машинице.

Напрасно он, звезды опутав, гремел  
серебряными канатами, —  
машина вставала — прямой и прямой  
пред молкнущими пернатыми!

И стало тогда соловью невмочь  
от полымем жегшей óдуми:  
ему захотелось — в одно ярмо  
с гудящими всласть заводами.

Тогда, пополам распилив пилой,  
вонзивши в недвижную форму лом,  
увидели, кем был в середке живой,  
свели его к точным формулам.

И вот: весь мир остальной  
глазеет в небесную щелку,  
а наш соловей стальной,  
а наш зоревун стальной  
уже пачинает щелкать!

Того ж, кто не видит проку в том,  
кто смотрит не ветки выше,  
таким мы охлынем рокотом,  
что он и своих не услышит!

Мир ясного свиста, льни,  
мир мощного треска, льни,  
звени и бей без умолку!  
Он стал соловьем стальным!  
Он стал соловьем стальным!..  
А чучела — ставьте на полку.

1922

## ОБ ОБЫКНОВЕННЫХ

### 1

Жестяпой перезвон журавлей,  
сизый свист уносящихся уток —  
в раскаленный металл перелей  
в словолитне расплавленных суток.

Ты гляди: каждый звук, каждый штрих  
четок так — словно, брови наморщив,

ночи звездный рассыпанный шриф  
набирает угрюмый наборщик.

Он забыл, что́ на плечи легло,  
он — как надвое хочет сломаться:  
он согнулся, ослеп и оглох  
над петитом своих прокламаций.

И хоть ночь, и на отдых пора б,—  
ему — день. Ему кажется рано.  
Он качается, точно араб  
за широкой страницей Корана.

Как мулла, он упрям и уныл,  
как араба — висков его просесть,  
отливая мерцаьем луны,  
не умеет прошедшего сбросить.

У араба — беру табуны,  
у наборщика — лаву металла...  
Ночь! Меня до твоей глубины  
никогда еще так не взметало!

## 2

Розовея озерами зорь,  
замирая в размерных рассказах,  
сколько дней на сквозную лазорь  
вынимало сердца из-за пазух!

Но — уставши звенеть и синеть,  
чуть вращалось тугое кормило...  
И — бегляпкой блеснув в вышине —  
в небе вновь трепетало полмира.

В небе — нет надоедливых пуль,  
там, не веря ни в клетку, ни в ловлю,



ветку звезд нагибает бюль-бюль  
на стеклянню звенящую кровлю.

Слушай тишь: не свежа ль, не сыра ль?..  
Только видеть и знать захотим мы —  
и засветится синий сераль  
под зрачками поющей Фатимы.

И — увидев, как вьется фата  
на ликующих лицах бегоний, —  
сотни горло раздувших ватаг  
ударяют за нею в погоню.

Соловей! Россиньоль! Нахтигаллы!  
Выше, выше! О, выше! О, выше!  
Улетай, догоняй, настигай  
ту, которой душа твоя дышит!

Им — навек заблудиться впотьмах,  
только к нам, только к нам это ближе,  
к нам ладонями тянет Фатма  
и счастливыми росами брызжет.

1922

\* \* \*

Совет ветвей, совет ветров,  
совет весецных комиссаров  
в земное черное нутро  
ударил огненным кресалом.

Губами спеклыми поля  
хлебнули яростной отравы,  
завив в пружины тополя,  
закучерявив в-кольца травы.



## НАИГРЫШ

От Грайворона до Звенигорода  
эта песня была переигрывана.  
В ней от доньего дня до поволжьяна  
крики «стронь-старина» в струны вложены.  
Всё, что было твердынь приуральных,  
все лежат, как скирды, пробуравлены.  
Изломи стап, гора, хребет Яблоповый,  
утекай, Ангара, от награвленного!  
Ветер, жги, ветер, рви, ветер, мни-уминай,  
разбирай семена, раздирай имена,  
раскромсай, разбросай города в города,  
вей, рей, пролетай, свою жизнь коротай!

*1922*

# СОВЕТ ВЕТРОВ

## 1923

---

*Как и все — Оксана Синяковой*

### ГАСТЕВ

Нынче утром певшее железо  
сердце мне нарезало в куски,  
оттого и мысли, может, лезут  
на стены, на выступы тоски.

Нынче город молотами в ухо  
мне вогнал распевов костыли,  
черных лестниц, сумерек и кухонь  
чад передо мною расстелив.

Ты в заре торжественной и трезвой,  
разогнавшей тленье тень и сон,  
хрипом этой песни не побрезгуй,  
зарумянь ей серое лицо!

Я хочу тебя увидеть, Гастев,  
длинным, свежим, звонким и стальным,  
чтобы мне — при всех стихов богатстве —  
не хотелось верить остальным;

Чтоб стеклом прозрачных и спокойных  
глаз своих разрезами в сажень  
ты засгиг бы внешний подоконник  
(это на девятом этаже);

Чтобы ты зарокотал, как желоб  
от бранчливых маевых дождей;

чтобы мне не слышать этих жалоб  
с улиц, бьющих пылью в каждый день;

Чтобы ты сновал не снов основой  
у машины в яростном плену;  
чтоб ты шел, как в вихре лес сосновый,  
землю с небом струнами стянув!..

Мы — мещане. Стоит ли стараться  
из подвалов наших, из мансард  
мукой бесконечных операций  
нарезать эпоху на сердца?

Может быть, и не было бы пользы,  
может, гром прошел бы полосой,  
но смотри — весь мир свивает в кольца  
немотой железных голосов.

И когда я забиваю в зори  
этой песни рвущийся забой,—  
нет, никто б не мог меня поссорить  
с будущим, зовущим за собой!

И недаром этот я влачу гам  
чугуна и свежий скрежет пил:  
он везде к расплывшимся лачугам  
наводнепьем песен подступил.

Я тебя и никогда не видел,  
только гул твой слышал на заре,  
но я знаю: ты живешь — Овидий  
горняков, шахтеров, слесарей!

Ты чего ж перед лицом врага стих?  
Разве мы безмолвием больны?  
Я хочу тебя услышать, Гастев,  
больше, чем кого из остальных!

1922

## В СТОНЫ СТАЛИ

В стоны стали погруженным,  
в шепот шкива, в свист ремня,  
как мне кинуть по «Гужонам»  
радость искрой из кремня?

Как мне выбить, вырвать, вызвать,  
не успевши затвердеть,  
из-за лягга, из-за визга  
дрожь у тысячи сердец?

Ты о чем замолк, формовщик?  
Выбей годы в звон листа!  
За тебя теперь бормочет  
закишающая сталь.

Тугоплавкого металла  
зачерпни и пей до дна:  
ведь и этой песни алой  
влага горлу холодна.

Если горло стало горном,  
день — расплавленным глотком,  
надо выть огнеупорным,  
мир тревожащим гудком.

Надо вызвать кранов скрежет,  
протереть и приладнять  
все, что треплет, кружит, режет  
болью будущего дня.

Пусть же все колеса сразу  
затрепещут, зазвонят —  
сложат песню — к фразе фразу, —  
прокатив через меня!

1923

## ЖАР-ПТИЦА В ГОРОДЕ

Ветка в стакане горячим следом  
прямо из комнат в поля вела  
с громом и с градом, с пролитым летом,  
с песней ночью вокруг села.

Запах заспорил с книгой и с другом,  
свежесть презрела разум и дом;  
тщетно гремела улицы ругань —  
вечер был связан и в чашу ведам.

Молния молча, в тучах мелькая,  
к окнам мапала, к себе звала:  
«Миленький, выйди! Не высока я.  
Хочешь, ударюсь о край стола?!»

Миленький, вырвись из-под подушек,  
комнат и споров, строчек и ран,  
иначе — ветром будет задушен  
город за пойманный мой майоран!

Иначе — трубам в небе коптиться,  
яблокам блекнуть в твоём саду.  
Разве не чуешь? Я же — Жар-птица —  
в клетку стальную не попаду!

Город закурен, грязен и горек,  
шелест безлиствен в лавках менял.  
Миленький, выбеги на пригорок,  
лестниц не круче! Лови меня!»

Блеском стрельнула белее мела  
белого моря в небе волна!..  
Город и говор — все онемело,  
все обольнула пламенней льна.

Я изловчился: ремень на привод,  
пар из сирены... Сказка проста:  
в громе и в граде прянула криво,  
в пальцах шпипит — перо от хвоста!

*1922*



# ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ

*Поэма*

---

1

Читатель, стой!

Здесь часового будка.  
Здесь штык и крик.

И лозунг. И пароль.  
А прежде —

здесь сипела незабудка  
веселою мальчишеской порой.  
Не двигайся!

Ты, может быть, —  
лазутчик,

из тех,  
кто руку жмет,  
кто маслит глаз,

кто лагерь наш  
разделит и разучит,

а после  
бьет свинцом враждебных фраз;  
кто,

лаковым предательством играя,  
по виду — покровительствует нам,  
чья наглая уступчивость — без края,  
чья злобное презрение — без дна.

Вот он идет,  
уверенно шагая,  
с подглазьями, опухшими во сне,  
и думает,

что песнь моя нагая  
его должна стесняться и краснеть!..  
Скопцы, скопцы!

Куда вам песни слушать!



Ни сердцем,  
                                 ни силой —  
   не хвастай.  
 Об этом лишь в книгах — умно!  
 А встретись с такой вот, бровастой,  
 и станешь ходить как чумной.  
 От этой улыбки суровой,  
 от павшей  
                                 до полу  
   косы  
 порывами ветра сырого  
 задышит апрельская спнь.  
 От этой беды  
                                 тонколицей,  
 где  
                 жизни глухая игра,  
 дождям и громам перелиться  
 через горизонтовый край.  
 И вскинет  
                                 от слова простого,  
 примявшего вкось ковыли,  
 курьерская почь до Ростова  
 колесами звезд шевелить.  
 Ничем —  
                                 ни стихом,  
   ни рассказом,  
 ни самой судьбой ветровой —  
 не будешь так скомкан  
   и разом  
 распластан вровень с травой.  
 Тебе бы — не повесть,  
   а поезд,  
 тебе б — не рассказ,  
   а раскат,

чтоб мчать,  
навивая на пояс  
и стран  
и событий каскад.  
Вот так  
на крутом виадуке,  
завидевши дальний дымок,  
бровей загудевшие дуги  
понять  
и запомнить я б смог.  
Без горечи, зависти, злобы  
следил бы  
издалека,  
как в черпую ночь унесло бы  
порывы паровика.  
А что мне вокзальный порядок,  
на миг  
вас сковавший со мной  
припадками всех лихорадок,  
когда я  
и сам  
как чумной?!

3

Скажешь:  
вона, ваныл опять!  
Ты глумишься,  
а мне не совестно.  
Можно с каждой женщиной спать,  
не для каждой — встаешь в бессоннице.  
Хочешь,  
вновь я тебе расскажу  
по порядку,  
как это водится?  
Ведь каким я теперь брожу,

и тебе как-нибудь забродится.

Все вокруг

зацветет, грустя,  
словно в дальние страны едучи;  
станет явен

всякий пустяк  
каждой поры в лице и клеточки.  
Руку тронешь —

она одна  
отзовется

за всех и каждого,  
выжмет с самого сердца дна  
дрожь удара

самого важного.  
Станешь таять,

как снег в воде, —  
не качай головой, пожалуйста,  
даже если б был злодей,  
все равно — затрясет от жалости.  
Тьма ресниц и предгрозы губ,  
запылавших цветами в Фаусте...  
Дальше —

даже и я не смогу  
разобраться в летящем хаосе;  
низко-низко к земле присев,  
видишь, — вновь завываю кликушей;  
я б с размера не сбился при всех,  
да язык  
досиня прикушен!

4

За эту вот

площадь жилую,  
за этот унылый уют  
и мучат тебя и целуют,

и шагу ступить не дают?!  
Проклятая тихая клетка  
с пейзажем,  
                        примерзшим к окну,  
где полною грудью  
                        так редко,  
там медленно  
                        можно вздохнуть.  
Проклятая черная яма  
и двор с пожелтевшей стеной!  
Ответь же, как другу, мне  
                        прямо,—  
какой тебя взяли ценой?  
Молчи!  
                        Все равно не ответишь,  
не сложишь заученных слов,  
немало  
                        за это на свете  
потеряно буйных голов.  
Молчи!  
                        Ты не сломишь обычай,  
пока не сойдешься с одним —  
не ляжешь покорной добычей  
хрустеть,  
                        выгибаясь под ним!  
Да разве тебе растолкуешь,  
что это —  
                        в стотысячный раз  
придумали муку такую,  
чтоб цвел полосатый матрас;  
чтоб ныло усталое тело,  
распластанное поперек;  
чтоб тусклая маска хрипела  
того,  
                        кто тебя изберет!  
И некого тут виноватить:

как горы,  
встают этажи,  
как громы,  
пружины кроватей,  
и —  
надобно ж как-нибудь жить!  
Так значит —  
вся молодость басней  
была,  
и помочь не придут,  
и день революции сгаснет  
в неясном рассветном бреду?  
Но кто-нибудь сразу,  
вчистую,  
расплатится ж  
блеском ножа  
за эту вот  
косу густую,  
за губ остывающий жар?!

5

От двенадцати до часу  
мне всю жизнь к тебе стучаться!  
Не по жиле телефона,  
не по кодексу закона,  
не по силе,  
не по праву  
сквозь железную оправу.  
Даль весенняя сквозная!..  
Я тебя другою знаю,  
я тебя видал такую,  
что не двинуться рукою.  
В солнце, в праздник,  
в ветер, в будень

всюду влажный синий студень.  
От двенадцати до часу  
мне сквозь мир к тебе стучаться!  
Обо все себя ломая,  
сквозь кропштейны,  
сквозь трамваи,  
сквозь насмешливые лица,  
сквозь свистки и рысь милиций,  
сквозь забытые авасы,  
сквозь лохмотья хитрованцев,  
сквозь дома

и сквозь фиалки  
на трясучем катафалке.  
От двенадцати до часу  
навкозь мир начнет качаться!  
Мир суровый, мир липовый,  
страшный, мертвый мир былого,  
мир, где от белья и мяса  
тучи тушами дымятся,  
где стреляют, режут, рубят,  
где губами

жгут и губят  
теми ж,  
ими же болтая  
об эпитетах в «Полтаве».  
Я доволен буду малым,  
если грохнет он обвалом,  
я и то почту за счастье,  
если брызнет он на части,  
если, мне сломавши шею,  
станет чуть он хорошее...  
Это все должно начаться  
от двенадцати до часу!



А покамест  
                                 сбивают биржи  
 с гранитных катушек, —  
 знаю:  
                                 эти вирши  
 задушат  
                                 пухом подушек;  
 и пока,  
                                 чадя Шейдеманом,  
 разлагается  
                                 в склепе  
   Стиннес, —  
 поворачивают вновь  
                                 дома нам  
 спины гостиниц.  
 Что мне скажет  
                                 о Макдональде  
 прямой провод,  
 если снова тоска моя  
                                 на лето  
 осталась без крова!  
 Пусть в Германии лица строги  
 и Болгария в прах разбита.  
 Чем  
                                 у нас  
                                 отдаляются сроки  
 переплавки быта?  
 Мне  
                                 не только одни наркомы  
 из-за мрака ложи,  
 мне — все лица в Москве знакомы  
 и, как трупы,  
                                 схожи.

Пусть дневник мой  
для вас анекдотом  
несерьезным будет,  
но из вас переделался кто там,  
серьезные люди?!  
Почему бы из-под подушек  
вам не вынуть ухо?  
Неужели оно задушено  
веков золотухой?  
Если так,

то довольно шуток:  
перед пузырями, —  
гной течет, заражен и жуток, —  
мы не козыряем!  
Нет, довольно хлопать в ладоши,  
обмывая пузо!..  
Что мне спеть теперь молодежи  
из притихших вузов?  
Мелких дел —

не поймать на перья,  
в их расщеп  
проползло столетье;  
долго выживает морда зверья,  
если сразу не одолеть ее.  
Мой дневник!

Не стань анекдотом  
лорелейной грусти, —  
если жепщину выкрал кто-то,  
он ее не пустит.  
Он забудет,

измучит,  
паранит  
и сживет со света,  
в жизни

или на экране, —  
все равно мне это!

И она загрустит,  
закрутит,  
переменит званье,  
разбазарит глаза и груди  
и в старуху свянет.

7

Где же жизнь,  
где же ветер века,  
обжигавший глаз мой?  
Он утих.

Он увяз, калека,  
в болотах под Вязьмой!  
Знаю я:

мы долгов не платим  
и платить не будем,  
но под этим истлевшим платьем  
как пройти мне к людям?  
Как мне вырастить жизнь иную  
сквозь зазывы лавок,  
если рядышком — вход в пивную  
от меня направо?  
Как я стану твоим поэтом,  
коммунизма племя,  
если крашено —  
рыжим цветом,  
а не красным, —  
время?!

8

Нет,  
ты мне совсем не дорогая!  
Милые  
такими не бывают...

Сердце от тоски оберегая,  
зубы сжав,  
их молча забывают.  
Ты глядишь —  
меня не понимая,  
слушаешь —  
словам моим не веря,  
даже в этой дикой сини мая  
видя жизнь  
как смену киносерий.  
Целый день лукавя и фальшивя,  
грустные выдумывая штуки,  
вдруг —  
взметнешь ресницами большими,  
вдруг —  
сведешь в стыде и страхе руки.  
Если я такой тебя забуду,  
если зубом прокушу я память —  
никогда  
к сиреневому гуду  
не идти сырыми мне тропами.  
«Я люблю, когда темнеет рано!» —  
скажешь ты  
и станешь как сквозная,  
и на мертвой зелени экрана  
только я тебя и распознаю.  
И, веселье призраком пугая,  
про тебя скажу,  
смеясь с другими:  
«Эта —  
мне совсем не дорогая!  
Милые бывают не такими».

Убегая от слова прямого  
и рассчитывая  
каждый шаг,  
сколько мы продержались зимовок,  
так называемая

душа?

Ты училась юлить  
и лизаться,  
поровила прожить без вреда,  
ты во время мобилизаций  
притворялась

идущей в рядах...

И, когда колыхавшимся газом  
плыли беды,

ты, так же ловча,  
опрокинув и волю и разум,  
залегала в дорожный ровчак.  
В ряд с тобою был так благороден,  
так прозрачен и виден на свет  
даже серый, тупой оборотень,  
пзменяющий в непогоду цвет.  
Где же взять тебе плавного хода,  
вид уверенный,

явственный шаг,  
ты, измятый, пзломанный «кодак»,  
так называемая

душа?

Вот смешались поля и пейзажи,  
все, что блеск твоих дней добывал,  
и теперь —

ты засыпана важино  
в черной страсти упавший обвал.

Что ж,

попробуй, поди, прояви-ка, —

в этой пленке нельзя различить,  
чья глаза, чьи слова там навькат,  
чьих планет пересеклись лучи.  
Как узнать там твой верный, любимый  
облик жизни —

большой и цветной?

Горя хлористым золотом вымой  
расплывающееся пятно.

Если песням не верят, —

то прочь их,

слепорожденных жалких котят.

Видишь:

спрыгнуть с нависнувших строчек,

как с карниза лепного, хотят.

Если делаешь все вполовину, —  
разрывайся ж

и сам пополам.

О, кровавая лет пуповина!

О, треклятая губ кабала!

1924

# ОКТАБРЬСКИЕ ПЕСНИ

## 1925

## В ТЕ ДНИ, КАК БЫЛИ МЫ МОЛОДЫ...

На жизнь болоночью  
  плюнувши,  
завернутую в кружева,  
еще  
    Маяковский  
  юношей  
шумел,  
        басил,  
                бушевал.  
Еще не умерший  
  Хлебников,  
как тополи,  
                                лепетал;  
теперь  
        над глиняным склепом его  
лишь ветер  
                да лебеда.  
В те дни  
        мы все были молоды...  
Шагая,  
        швырялись дверьми.  
И шли поезда  
                из Вологды,  
и мглились штыки  
                                в Перми.  
Мы знали —  
        будет по-нашему;

взорвет тоской  
                                эшелон!..  
Не только в песне  
                                вынашивать,  
что в каждом сердце  
                                жило.  
И так и сбылось  
                                я сдюжилось,  
что пелось  
                                сердцу в ночах:  
подернуло  
                                спзой стужею  
семейств бурдючных очаг.  
Мы пели:  
                                вот отольются им  
тугие слезы  
                                веков.  
Да здравствует Революция,  
сломившая  
                                власть стариков!  
Но время,  
                                незнамо,  
                                неведомо,  
подкралось  
                                и к нашим дням.  
И стала ходить  
                                с подседами  
вокруг  
                                и моя родня.  
И стала  
                                морщенной кожей  
желтеть  
                                на ветках недель.  
И стало  
                                очень похоже



на прежнюю  
канитель.  
Пускай голова  
не кружится,  
я крикну сам  
про нее:  
сюда,  
молодое мужество,  
пугай  
с пути ворошь!  
Скребись  
по строчкам липованным,  
рассветом озарено,  
чтоб стало опять  
все ново нам,  
тряхни еще стариной!  
Пусть вновь  
и вновь отольются ей  
седые слезы  
веков.  
Да здравствует Революция,  
сломившая  
власть стариков!

1925

## НОВАЯ КРЕМЛЕВСКАЯ СТЕНА

Октября  
кровавые знамена,  
пулями  
пропитые пaskвозь,  
разве вспомнишь  
всех вас  
поименно,

отстоявших  
зори над Москвой?!  
Разве перечесть вас,  
легших в славе,  
разве соберешь  
в одном лице,  
танками  
растоптанные навек,  
взятые  
мортирой па прицел?!  
Расстилаясь  
к северу и к югу,  
в хмурый вечер,  
в смерзшуюся рань,  
прорывала  
смерть,  
и мрак,  
и вьюгу —  
сердца человеческого ткань.  
Пелл пули,  
били пулеметы,  
ветер  
упирал ладони в грудь,  
век,  
казалось,  
от тупой ломоты  
взгляду  
и костям  
не отдохнуть.  
Дни и вещи  
плыли и кружились,  
все неслоь вокруг,  
как мрак и бред,  
но,  
растягивая сухожилья,

вы сдержали  
мир на Октябре!  
Он взмывал  
над вами  
песней вольной,  
неба молодого голубей,  
он вставал за вами,  
облик Смольный, —  
вами взятой волн колыбель.  
В злую глушь,  
в тасжные селенья,  
с вышки  
Октября  
сторожевой  
подавал  
свой свежий голос  
Ленин,  
всем понятный,  
четкий  
и живой.  
И опять,  
наежившись штыками,  
напрягая  
сумрачный зрачок,  
в тыл врагу  
вздыхался  
каждый камень,  
каждый  
сердца бывший клочок.  
И на каждом  
лесовом завале,  
обрывая  
трубки у гранат,  
вновь и вновь  
они голосовали

за тебя,  
                    свободная страна!  
Это их  
                    суровые колонны  
нынче вышли  
                    на сплошной парад,  
это ихней  
                    кровью раскаленной  
пышет бантов  
                    красная кора.  
Это им,  
                    о прошлом не жалея,  
птицей в сердце  
                    бился мир иной,  
им,  
                    кто лег  
                    окружем Мавзолея —  
новою кремлевскою стеной!  
Октября  
                    кровавые знамена,  
пулями  
                    прошитые насквозь,  
разве вспомнишь  
                    всех вас  
                                    поименно,  
отстоявших  
                    зори над Москвой?!

1925

## ПОЭМА

Стоящие возле,  
                    пидущие рядом  
плечом  
                    к моему плечу,

сносимые этим  
огромным снарядом,  
с которым и я лечу!  
Давайте отметим  
и местность и скорость  
среди ледяных широт,  
и общую горечь,  
и общую корысть,  
и общий порыв вперед.  
Пора,  
разложивши по полкам вещи,  
взглянуть в пролет,  
за стекло,  
увидеть,  
как пенится, свищет и блещет  
то время,  
что нас обтекло.  
Смотрите,  
как этот крутой отрезок  
нас выкрутил  
в высоту!  
Следите,  
как ветер —  
и свеж и резок —  
от севера  
в тыл задул!  
Ты, холод,  
сильней семилетьем  
шурши нам:  
поднявшиеся на локтях,  
сегодня  
мы вновь  
огигаем вершину,  
название которой —  
Октябрь!

Суровое время!  
Любимое время!  
Тебе не страшна вражда.  
Горой ты встаешь  
за тех из-за теми,  
кто цовое звал и ждал.  
Ты помнишь,  
как страшно,  
мертво и тупо  
бульвар грохотал лпствой?!  
Ты помнишь,  
как сумрачно из-за уступа  
нагретый мотался ствол?!  
Озлобленно-зорко  
мы брали на мушку —  
кто не был  
по-нашему рад,  
и ночи не спали,  
и хлеба осьмушку  
цепили в алмазный карат.  
Семь лет  
провело не одну морщину,  
немало  
сломало чувств,  
и юношу  
превращало в мужчину,  
как поросль  
в ветвистый куст.  
Семь лет  
не один подогнуло колени.  
За эти  
семь лет —  
качнуло Японию,  
умер Ленин,  
Марс подходил к Земле.

Он вновь поднялся,  
Октябрем разбитый,  
копейками дней звеня...  
(Товарищ критик,  
не я против быта,  
а быт —  
против меня!)

Но нас  
Октября приучили были —  
Бои у Никитских ворот,  
прильнувши  
к подножкам автомобилей,  
сквозь быт  
продираться вперед.

Суровое время!  
Огромное время!  
Тебе не страшна вражда.  
Горой ты встаешь  
за тех из-за теми,  
кто выучил твой масштаб.  
Ты, холод,  
сильней семилетьем  
шурши нам:

поднявшиеся на локтях,  
сегодня  
мы снова  
увидим вершину,  
название которой —  
Октябрь!

*Октябрь 1924*

## РЕКВИЕМ

Если день смерк,  
если звук смолк,  
все же бегут вверх  
соки сосновых смол.

С горем наперевес,  
горло бедой сжав,  
фабрик и деревень  
заговори, шаг:

«Тяжек и глух гроб,  
скован и смыт смех,  
низко пригнуть смогло  
горе к земле всех!»

Если умолк один,  
даже и самый живой,  
тысячами родён,  
жизнь, отомсти за него!»

С горем наперевес,  
зубы бедой сжав,  
фабрик и деревень  
ширься, гуди, шаг:

«Стой, спекулянт-смерть,  
хриплый твой вой лжив,  
нашего дня не смей  
трогать: он весь жив!»

Ближе плечом к плечу, —  
пищей ли шпроте,  
пасынкам ли лачуг  
жаться, осиротев?!»



С горем наперевес,  
зубы тоской сжав,  
фабрик и деревень  
ширься, тугой шаг:

«Стаем па караул,  
чтоб не взошли враги  
на самую  
дорогую  
из наших могил!

Если день смерк,  
если смех смолк,  
слушайте ход вверх  
жизнью гонимых смол!»

С горем наперевес,  
зубы тоской сжав,  
фабрик и деревень  
ширься, сплошной шаг!

*1924*

# СВЕРДЛОВСКАЯ БУРЯ

## Поэма

---

### 1

Я лирик  
но складу своей души,  
по самой  
строчечной сути.  
Казалось бы просто:  
спди и пиши,  
за лирику, —  
кто ж осудит?  
Так вет —  
петерпенье!  
Взмапило вдаль,  
толкнуло к морю,  
к прибою.  
Шумела и пенилась лирика:  
«Дай  
стеной мне встать  
голубою!»  
Она обпимала,  
рвала с корпей,  
в коленях,  
стала пошатывать,  
п с места гнала,  
и вела верней  
любого колонновожатого.  
Как на море буря,  
мачтой маша,  
до слез начинает  
вахлестывать,  
так —  
лирика это или душа —

бьет в борт  
человечьего остова.

2

Нас бури несли  
или спилось во сне?  
Давно не видали  
их мы.  
Казалось:  
лишь горы начнут яснеть —  
и взмоют прибоем

рифмы.  
Доехал до моря, —  
но море не то.  
Писать ли портрет  
с такого?

Или пены,  
или бури...  
Молочных цветов.

В туманы —  
берег окован.  
Постыл и невесел  
курортный режим,  
к таким приучает  
рожам,  
что будто от них мы —  
слегли и лежим

и на ноги встать  
не можем.  
Меж пухлых телес  
застревает нога.

Кипы —  
по салу и крови...  
Таких вот — не смог продырявить наган,  
задохся  
в верхнем покрове,

От трестовских спин  
    и от спецовских жен  
 все море  
                          жиром замаслено.  
 А может,  
                          я просто жарой раздражен,  
 взвожу на море  
                          напраслины?  
 Но нет:  
                          п оно,  
                          наморщив гладь,  
 пгая с солнцем  
                          в пятнашки,  
 нет-нет да и вздрогнет,  
                          нет-нет да и — глядь  
 с тоской  
                          на вздутые ляжки.  
 И солнца  
                          академический лик,  
 скользя  
                          по осенней сини,  
 нет-нет да и вспыхнет,  
                          и влажный двойник  
 в воде его —  
                          голову вскинет.  
 А впрочем, что же,  
                          курорт — как курорт,  
 в лазуревой хмари  
                          дымок.  
 И я —  
                          ни капли не прокурор,  
 и пляж —  
                          не скамья подсудимых.

Но вот,  
     чугунясь загаром плеча,  
 нагретым  
     мускулом двигая,  
 над шрифтом  
     убористых строк Ильича —  
 фигура чья-то  
     над книгою.  
 Я лежмя лежал —  
     и не знал, что — гроза,  
 я встать и не думал  
     вовсе...  
 И вдруг  
     черкнули синью глаза:  
 упорист зрачок  
     в свердловце.  
 Ага!  
     Загудел над спасениями шторм...  
 Но с виду —  
     все было спокойно.  
 И мы говорили  
     про МОПР и про корм,  
 про колониальные  
     войны.  
 Потом посмотрели  
     друг другу в глаза,  
 и дрожь  
     от земли до неба  
 стрельнула —  
     и ходу не стало назад,  
 и нэп —  
     как будто и не был.



Кто мог бы понять,  
                        что меж этих толстух,  
в которых  
                        я рифмой возился,—  
с грозových просторов  
                        рязанский пастух  
стрелой громовую  
                        вонзился?  
Что,  
            голову на руки облокотив,  
совсем поблизости,  
                        рядом,  
весь пляж и весь мир —  
                        партийный актив  
суровым  
                        меряет взглядом?  
Кто мог бы узнать,  
                        что не из берегов  
выходит море рябое,—  
что он,  
            перешедший через Перекоп,  
сигнал —  
                        крутого прибоя?  
И я увидал  
            в расступившихся днях —  
в глазах его,  
            грозных и синих,—  
проросший сквозь нэп  
                        строевой молодняк,  
не только—  
            осенний осинник.

И вот —  
                     он свердловцем,  
                                     а я рифмачом.  
 И моря —  
                     нежна позолота.  
 Но мы не забудем  
                     его  
                             нипочем —  
 воронежского  
                     болота.  
 Мы с ним не на пляже,  
                             мы с ним — на ветру,  
 и дали —  
                     тревожны и сини...  
 И я — запевала,  
                     а он — политрук,  
 лежим в болотной трясине.  
 Но мы не сдадимся  
                     на милость врага,  
 пощады его  
                     не спросим.  
 В лицо нам — звезда,  
                             светла и строга,  
 взопла  
                     и глядит из-за просек.  
 И если так надо, —  
                     под серым дождем,  
 как день ни суров  
                     и ни труден, —  
 и почи, и годы,  
                     и дольше прождем,  
 пока  
                     не избудем буден.



И только,  
                                 прижавшись к плечу плечом,  
 друг друга  
                                 обмерив глазом,  
 над верным вождем,  
                                 над Ильичем,  
 мы всыхнем  
                                 и вспомним разом:  
 как на море буря,  
                                 мачтой маша,  
 до слез начищает  
                                 захлестывать,  
 как —  
                                 лирика это или душа —  
 бьет в борт  
                                 человечьего остова.  
 И море,  
                                 откликнувшееся на зов,  
 плеснет,  
                                 седо и клокато,  
 взгремит  
                                 и от самых своих пизов  
 до самых  
                                 крутых накатов.  
 И в клочья  
                                 разорвана тишина,  
 игравшая  
                                 в чет и нечет,  
 и в молнии —  
                                 спова земля зажжена,  
 и буря  
                                 и рвет и мечет!

# ИЗМОРОЗЬ

## 1927

---

### ЭСТАФЕТА

Что же мы, что же мы,  
неужто ж размоложены,  
неужто ж нашей юности  
конец пришел?  
Неужто ж мы — седым —  
сквозь зубы зацепили,  
неужто ж мы не сможем  
разогнать прыжок?

А путе-ка, тикайте,  
на этом перекате  
пускай не остановится  
такой разбег.  
Еще ведь нам не сорок,  
еще зрачок наш зорок,  
еще мы не засели  
на печи в избе!

А ну-ка, все лавиной  
на двадцать с половиной,  
ветрами нашей бури  
напрямик качнем.  
На этом перегоне  
никто нас не догонит.  
Давай? Давай!  
Давай начнем!

Что же мы, что же мы,  
неужто ж заморожены,  
неужто ж нам положено  
на месте стать?

А ну-ка каблуками  
махнем за облаками,  
а ну, опять без совести  
вовсю свистать!

Давайте персмолвим  
безмолвье сних молпий,  
давайте снова новое  
любить начнем.

Чтоб жизнь опять сначала,  
как море, закачала.

Давай? Давай!

Давай **начнем!**

1927

## РУССКАЯ СКАЗКА

### 1

Говорила моя забава,  
моя лада, любовь и слава:  
«Вся-то жизнь твоя — небылица,  
вечно с былью людской ты в ссоре,  
ходишь — ищешь иные лица,  
ожидаеть другие зори.

### 2

Люди чипно живут на свете,  
расселясь на века, на версты,  
только ты, схватившись за ветер,

головою в бурю уперся,  
только ты, ни на что не схоже,  
называешь сукно — рогожей».

3

Отвечал я моей забаве,  
моей ладе, любви и славе:  
«Мне слова твои не по мерке,  
и не впору упрек твой лстивый,  
еще зори мои не смеркли,  
еще ими я жив, счастливый.

4

Мне ль повадку не знать людскую,  
обведешь меня словом ты ли?..  
Люди больше меня тоскуют:  
видишь — ветер винтом схватили,  
видишь — в воздух уперлись пяткой,  
на машине качаясь шаткой.

5

Только тем и живут и дышат —  
довести до конца уменье:  
как такие вздумать снаряды,  
чтоб не падать вниз на каменья,  
чтобы каждый — вольный и дошлый —  
наступал на облак подошвой.

6

И я знаю такую сказку,  
что пачать, так дух захолонет!  
Мне ее под вагона тряску  
рассказали в том эшелоне,  
что, как пойманный в клетку, рыскал  
по отрезанной Уссурийской.

Есть у многих рваные раны,  
да своя болит на погоду;  
есть на свете разные страпы,  
да от той, что узнал, — нет ходу.  
Если все их смешаю в кучу,  
то и то тебе не наскучу.

Оглянись на страну большую —  
полоснет пестротой по глазу.  
Люди в ней не живут — бушуют,  
только шума не слышно сразу, —  
от ее голубого вала  
и меня кипеть подмывало.

Вот расплакалась мать над сыном  
в том краю, что со мною рядом;  
в этом — пахнет пот керосином,  
рыбий жир в другом — виноградом;  
и сбежались к уральской круче  
горностаевым мехом тучи.

Вот идет верблюд, колыхаем  
барханами песен плачевных,  
и на нем, клопясь малахаем,  
выплывает дикий кочевник;  
среди зарев степных и марев  
он улиткою льнет к Самаре.

А из вятских лесов дремучих,  
из болот и ключей гремучих,  
из глухих углов Керемети,  
по деревьям путь переметив,  
верст за сотню, а то сот за пять —  
пробирается легкий лапоть.

Вот из дымного Дагестана,  
избочась на коне потливом,  
вьется всадник осиным станом,  
синеватым щеки отливом.  
А другой, разомчась из Чёчни,  
ликом врезался в ветер встречный.

А еще в глухом отдаленье,  
где морская глыбь посинела,  
тупотят копыта оленье  
под луною окоченелой:  
Медный остров, выселок хмурый,  
шлет покрытых звериной шкурой.

Отовсюду летят и мчатся,  
звонит повод, скрипит подпруга,—  
это стягиваются домочадцы,  
что не знали в лицо друг друга.  
Из становий и из урочищ  
собирает их старший родич.

Он лежит под стеною кремлевской,  
 невелик и негрозен с виду,  
 но к нему — всех слез переплески,  
 всех окраин людских обиды,  
 не заботясь времени тратой,  
 поспешают вдогон за правдой.

Он своею силой не хвастал,  
 не носил одежды парчовой,  
 по до льдов, до снежного наста,  
 им вконец весь край раскорчеван.  
 В Бухаре и в Нижнем Тагиле  
 говорят о его могиле.

Что же ты грустишь, моя лада,  
 о моей непонятной песне?  
 Радо сердце или не радо  
 жить с такою судьбою вместе?!  
 Если рада слушать такое —  
 не проси от меня покоя.

Зпать, недаром на свете живу я,  
 если слезы умею плавить,  
 если песню сторожевую  
 я умею вехой поставить.  
 Пусть других она будет глуше, —  
 ты ее, пригорюнясь, слушай!»

1927

Не за силу, не за качество  
золотых твоих волос  
сердце враз однажды начисто  
от других оторвалось.

Я тебя запомнил докрепка,  
ту, что много лет назад  
без упрека и без окрика  
загляделась мне в глаза.

Я люблю тебя, ту самую, —  
все нежней и все тесней, —  
что, назвавшись мне Оксаною,  
шла ветрами по весне.

Ту, что шла со мной и мучилась,  
шла и радовалась дням  
в те года, как вьюга вьючила  
груз снегов на плечи нам.

В том краю, где сизой заметью  
песня с губ летит, скользя,  
где нельзя любить без памяти  
и запеть о том нельзя.

Где весна, схватившись за ворот,  
от тоски такой устав,  
хочет в землю лечь у явора,  
у ракитова куста.

Нет, не сила и не качество  
молодых твоих волос,  
ты — всему была заказчица,  
что в строке отозвалось.

1926



## ДЕКАБРЬСКИЙ ТУМАН

## 1

Петербургский  
                        холодный туман:  
это день  
                или это тюрьма?  
Головою  
                спросонья качни:  
это свет  
                или это ночник?  
Дым,  
        как дерево,  
                        тих и кудряв,  
а деревья нависли,  
                        как дым,  
будто город —  
                        с того декабря —  
побелел  
                и остался седым.  
Здесь прощальное небо  
                        темней,  
чем в глазах умирающих —  
                        свет,  
от морозного пота  
                        камней,  
от испарины  
                        сгибнувших лет.  
Будто этого утра  
                        заря,  
окроваваясь,  
                        осталась стоять;  
будто всажен  
                        ей в сердце заряд

и кинжала  
вошла рукоять;  
будто тот же мороз  
по спине;  
будто им  
не в железо врастать, —  
на сведенных руках  
цепенеть  
капдалам  
Чернышева моста.

2

Если ты  
начинаешь стареть —  
в двадцать раз  
здесь седеешь скорей;  
в невский шелест  
рассветом влеком,  
ты проснешься  
уже стариком.  
Сдавит сердце  
свинцовый восторг:  
это марево  
или игра —  
эти вздохи  
дворцов и мостов,  
усыпленных садов  
филигрань?!  
Это — выдумка  
или всерьез?..  
Здесь пельзя  
разобрать никому;  
спзой сети  
седое сырье,  
ледяная  
рыбацкая муть.

Ни себя,  
ни друзей не щадя,  
здесь столетье  
сходило с ума,  
столбенеть  
на твоих площадях,  
петербургский  
студеций туман.

*Декабрь 1925*

## СИНИЕ ГУСАРЫ

### 1

Раненым медведем  
мороз дерет.  
Санки по Фонтанке  
летят вперед.  
Полоз остер —  
полосатит снег.  
Чья это там  
голоса и смех?  
«Руку  
на сердце свое  
положа,  
я тебе скажу:  
ты не тронь палаша!  
Силе такой  
становясь поперек,  
ты б хоть других —  
не себя —  
побереги!»



«За Южное братство,  
за юных друзей!»

4

Глухие гитары,  
                высокая речь...  
Кого им бояться  
                и что им беречь?  
В них страсть закипает,  
                как в пене стакан:  
впервые читаются  
                строфы «Цыган»...  
Тени по Литейному  
                летят назад.  
Брови из-под кивера  
                дворцам грозят.  
Кончена беседа.  
                Гони коней!  
Утро вечера —  
                мудреней.

5

Что ж это,  
                     что ж это,  
                                     что ж это за песнь?!  
 Голову  
                     на руки белые  
                                     свесь.  
 Тихие гитары,  
                     стыньте, дрожа:  
 сишие гусары  
                     под снегом лежат!

Декабрь 1925

# ВРЕМЯ ЛУЧШИХ

## 1927

---

### ВРЕМЯ ЛУЧШИХ

*Памяти Ф. Э. Дзержинского*

Время, время,  
                                не твое ли зверство  
не дает  
                        ни сил, ни дней сберечь?  
Умираем  
                        от разрыва сердца  
чуть прервав,  
                        едва закончив речь...  
Умираем  
                        не от слезной муки,  
не от давней  
                        раны пулевой,—  
умираем,  
                        напрягая руки,  
над огромной  
                        ширью полевой.  
Как поднять ее  
                        с другими вровень,  
как подставить ей  
                        свое плечо,  
если  
                путь ее —  
                        биением крови,  
а не медом с молоком  
                        течет?  
Соль и уголь  
                        залегли пластами...

Как их слить,  
   в одно соединив,  
 чтоб сошлись  
   навек  
   в одном составе  
 лязг заводов  
   с пошелестом нив?  
 Сердцу тяжело...      Сердце ведь не камень:  
 напряги —  
   и дрогнет вперевой  
 под кулями,  
   рельсами,  
   станками,  
 под своей  
   и общею судьбой!  
 Но не рабским,  
   подневольным пленом  
 вызван к жизни  
   этот тяжкий труд.  
 Ныпче, знаю,  
   встанет мира пленум  
 на тобою  
   вызванном ветру!..  
 Над огромным,  
   неподвижным краем  
 время —  
   лучшим  
   сердце утомлять...  
 Умираем?  
   Нет, не умираем,—  
 порохом  
   идем в тебя,  
   земля!

1926

## ЗАПЛЫВ

У тебя  
                    молодая рука,  
пред тобою —  
                    синеет река.  
Слушай мудрость  
                    и помни одну:  
не стремись  
                    раньше срока  
                    ко дну.  
Разве можно  
                    в мечтах изомлеть  
на высокой  
                    на этой земле?  
Разве можно  
                    тоской истекать  
из-за каждого  
                    пустяка?  
Если сердце  
                    и солнце —  
                    теплы,  
надо прыгать с размаху  
                    и плыть.  
Рассекая вразлет  
                    эту тишь,  
ты ли —  
                    ласточкой —  
                    сверху летишь?  
Легши на бок,  
                    напрягши плечо,—  
ты весь мир  
                    за собою влечешь,  
постепенно  
                    волной овладев,



на воле,  
на веселой воде...  
Предо мной —  
половина реки,  
на меня  
еще лгут старики.  
Помню мудрость  
и знаю одну:  
не идги  
раньше срока  
ко дву.  
Не из прихоти,  
не из причуд  
я в сгнхе своем  
сальто кручу,—  
по мне страшно  
в мечтах изомлеть  
на высокой  
на этой земле.  
Я не дамся  
тоски пустяку  
виснуть грузом  
и пыть по стиху.  
Легли на бок,  
напрягши плечо,—  
я вперед уплываю  
еще,  
постепенно  
волной овладев,  
по всселой  
и светлой воде.  
И за мной,  
не оставив следа,  
завивает  
воронки  
вода,

## УЛИЧНЫЕ СТИХИ

Из-под  
    грохотания и рева,  
на углу  
    Тверской и Огарева,  
продираясь  
    к небесам,  
                    с трудом  
подрастает  
    малолетний дом.  
В колыбель Москвы  
    при мне положен,  
кожицей  
    кирпичною багрясь,  
этот дом —  
    уже меня моложе, —  
пропитавшегося  
    в пыль и грязь.  
В этом  
    нету никаких трагедий,  
это можно  
    написать в анкете.  
Встану на цыпочки —  
    вытянусь —  
в завтрашнюю  
    действительность!  
Из-за  
    грохотания и рева  
узок  
    переулок Огарева.  
И леса,  
    леса,  
    леса,  
    леса...

Свежие,  
                                веселые тесины.  
Весь квартал  
                                вприсядку заплясал  
под  
                                пилы зудящей  
  звук осиный.  
Это,—  
                                с облаками заиграв,—  
вырастает  
                                новый телеграф.  
Из московских  
                                каменных реликвий  
нет такой  
                                заманчивой другой;  
для меня он  
                                самый развеликий,  
самый близкий,  
                                самый дорогой.  
Оглянись же на него,  
                                прохожий,  
на ничто еще  
                                и не похожий,  
будущего  
                                напряженный рост;  
будущего  
                                неизвестный остров,  
будущего  
                                мыслимый лишь остов:  
как упрям он,  
                                как он прям  
  и прост,—  
будущих  
                                видений и судеб  
будущий  
                                высокий лицедей!

Мы уйдем с тобой  
отсюда вместе...  
Но уже,  
родясь,  
играют вести,  
вести  
из неведомой поры,  
той,  
в которой  
чья-то жизнь иная  
взглянет на него,  
припоминая  
наши пилы,  
наши топоры!

1926

# ОРАНЖЕВЫЙ СВЕТ

## 1928

---

### ПРЕДГРОЗЬЕ

В комнате высокой  
на целый день  
сумрачная, смутная  
осела тень.  
Облачные очереди  
стали в ряд,  
молнии рубцами  
на лице горят.  
Голос ненаигранный —  
дальний гром,  
словно память кинутая  
детских дрём.  
Вот и ветер, хлынувший  
волной обид,  
каждый сердца клинышек  
дождем дробит...  
Двигается республика,  
шумит внизу,  
слушает плывущую  
над ней грозу.  
Как мне нынче хочется  
сто лет прожить, —  
чтоб про наши горечи  
рассказ сложить.  
Чтобы стародавнюю  
глухую быть

били крылья памяти,  
как дождик — пыль.  
Чтобы ветер взвихренный  
в развал теней —  
голос ненашграницый  
чтоб пел о ней.  
О моей высокой  
синемолнийной  
комнате, тревогою  
наполненной.  
Вот хотя бы этот  
грозовой мотив  
выпомнить и выполнить,  
на слух схватив.  
Это не колеса  
бьют и цокают  
в песнь мою и в жизнь мою  
высокую.  
Это рвет республика  
сердца вниз,  
слушая плывущую  
над ней грозу.  
Ты плыви, плыви,  
гроза, по желобу:  
долго небу не бывать  
тяжелому.  
Ты плыви, гроза,  
на нас не вешайся,  
прибавляй нам смелости  
да свежести.  
По моей высокой  
синемолнийной,  
бодрою тревогою  
наполненной.

1928

## СВЕТ МОЙ...

Свет мой оранжевый,  
на склоне дня  
не замораживай  
хоть ты меня.

Не замораживай  
в лед и в дрожь,  
не замораживай  
в лень и в ложь.

Чтобы — первый  
сухой снежок  
щек моих не пекотал,  
не жег;

чтобы — зимнее  
марево

глаз не льдило,  
не хмарило.

Дзень-дзирилинь-дзинь,  
дзанг-джеой,  
длись, мой свежий,  
оранжевой.

Что ты, в самом деле,  
с ума сошел?

Петь такие песни  
нехорошо.

Петь такие песни  
невыгодно,—  
разве ж наши зимы  
без выхода?

Если натереть бы  
небо порохом,—

где б ходить тогда  
по небу сполохам?

Если все была бы  
только выгода,

где тогда искать бы  
сердцу выхода?  
Свет мой орапжевый,  
на склоне дня  
не замораживай  
хоть ты меня.  
Не замораживай  
мое лицо  
в лед, и в ложь,  
и в лень, и в сон.  
Дзайнь-дзирвлипнь-дзайнь,  
дзанг-джеой,  
длись, мой свежий,  
оранжевой!

1927

## ЗВЕНИ, МОЛОДОСТЬ

Звени, звени, молодость,  
сильная да злая,  
жизнь твоя веселая,  
полная до края.

Только помни, молодость,  
не без края весен,  
станет свистом, холодом  
свет пепереносен.

Станут тучи серые  
над тобой метаться,  
станет ночи целые  
думаться, не спаться.

Звени, звени, молодость,  
свежая да злая,



имя свое легкое  
хвастая и славя.

Только что тут выдумать,  
если все едино  
видимо-невидимо  
в голове сединок.

Губы мои любые,  
вы уже не прежни:  
вовсе стали грубые,  
а бывали нежны.

Звени, звени, молодость,  
быстрая да злая,  
звездами да грозами  
дополна пылая.

Видно, впрямь нездорово  
конному опешить,  
голову, как олово,  
на ладони вешать.

Как ее ни вешаешь  
низко на ладони,—  
все равно не сделаешь  
снова молодую.

Раззвенись же, молодость,  
до глухого места,  
помоги мне с осенью  
сдуматься и спеться.

*1927*

## ЗА СИНИЕ ДНИ

В Крыму расцветают черешни и вишни,  
там тихое море и теплый прибой.  
А я, никому здесь не пужный и лишний,  
не знаю, как быть и что делать с собой.

А я пропадаю за милую душу,  
за милую душу, за синие дни;  
почую без крыши и сплю без подушек,  
скитаюсь без цели, живу без родни.

На Курском вокзале — большие составы,  
доплаты за скорость платить не могу.  
А мне надоело стрелять у заставы,  
на темном подъезде, на желтом снегу.

Уже декапод нажимает на рельсы,  
уходит на юг, как и в прошлом году...  
Смотри, беспризорник, вернее пацелься,  
вырвай под вагон на неполном ходу.

Залягу жгутом в электрический ящик,  
от саж и пыли, как кошка, рябой;  
доеду — добуду краев настоящих,  
где тихое море и теплый прибой.

Доеду — зареюсь в горячий песочек,  
от жаркого солнца растает тоска;  
доеду — добуду зеленую Сочу,  
зеленую Сочу и Нову Аскань.

Нас пар не обварит и смерть не задушит,  
бригада не выгонит из западни.  
Мы здесь пропадем за милую душу,  
за милую душу, за синие дни.

1927

## ЧУЖАЯ

• • •

совсем иная,  
                                совсем другая,  
мне не родная,  
                                не дорогая.

1928

\* \* \*

Летят недели кувырком  
и дни порожняком.  
Встречаемся по сумеркам  
украдкой да тайком.  
Встречаемся — не ссоримся,  
расстанемся — не ждем  
по дальним нашим горницам,  
под сереньким дождем.  
Не видимся по месяцам:  
ни дружбы, ни родни.  
Столетия поместятся  
в пустые эти дни.  
А встретимся — все сызнова:  
с чего опять начать?  
Скорее, дождик, сбрызгивай  
пустых ночей печаль.  
Все тихонько да простенько:  
влеченье двух полов  
да разговоры родственников,  
высмеивающих зло.  
Как звери когти стачивают  
о сучьев пустяки, —  
последних сил остаю  
скребу тебе стих.  
В пустой денек холодуенький,  
заежившись свежо,

ты, может, скажешь: «Родненький», —  
оставшись мне чужой.  
И это странно весело  
и страшно хорошо —  
касаться только песнею  
твоих плечей и щек.  
И ты мне сердце выставил  
одним словцом простым,  
чтоб билось только издали  
на складках злых простынь;  
чтоб день, как в винограднике,  
был полон и тяжел;  
чтоб ты была мне навеки  
далекой и чужой.

1928

\* \* \*

Слушай, Аняи,  
твое дыханье,  
трепет рук,  
и изгибы губ,  
и волос твоих  
колыханье  
я, как давний сон,  
берегу.  
Эти лица  
и те,  
и те, —  
им  
хоть сто,  
хоть тысячу лет скости, —  
не сравнить с твоим  
в простоте,

в прямоте  
и в суровой детскости.  
Можно  
острой в глазах пестреться,  
можно  
ветром в росе свистеть,  
по в каких  
человеческих средствах  
быть собой  
всегда и везде?!  
Ты проходишь  
горя и беды,  
как проходит игла  
сквозь ткань...  
Как выдерживаешь  
ты это?  
Как слеза у тебя  
редка?!  
Не в любовном  
пылу и тряске  
я заметил  
крепость твою.  
Я узнал,  
что ни пыль,  
ни дрязги  
к этой коже  
не пристают.  
И когда  
я ломлю твои руки  
и клоню  
твоей воли стан,  
ты кричишь,  
как кричат во выюге  
лебедя,  
от стан отстав...

1928

Не будет стога сирого,  
ни вопля, ни слезы;  
идите, дни, боксировать  
на рифм моих призы.

Бегите, физкультурники,  
купать в ветрах лицо:  
крутитесь, дни, на турнике  
летучим колесом.

А ты, любовь, не высыпся,  
не грядься комом вниа,  
на вытянутых бицепсах  
бодрее подтянись, —

Чтоб, зубом заскрежещенный,  
унынья скрылся лик;  
чтоб все на свете женщины,  
как звезды, зацвели;

Чтоб каждый взял на выдержку  
безмолвья сон дурной;  
чтоб каждый пел навывтяжку  
натянутой струной;

Чтоб шла навстречь весна ему  
тревожно и свежо;  
чтоб не было незнаемой  
и не было чужой.

1928

# РАБОТА НАД СТИХОМ

## 1929

---

### ДЕСЯТЫЙ ОКТЯБРЬ

Дочиста  
пол натереть и вымести,  
пыль со стола  
убрать и смахнуть,  
сдуть со стихов  
постороннюю примесь  
и —  
к раскрытому настежь окну.  
Руки мои —  
чтоб были чисты,  
свежестью —  
чтоб опахнуло грудь.  
К сердцу  
опять подступают числа:  
наших дней  
начало и путь.  
Сумерки  
кровли домов одели...  
В память,  
как в двор ломовик, тарахтя,  
грузом навьючив  
дни и недели,  
вкатывается  
Десятый Октябрь.  
Тысячи строк,  
совершая обряд,



будут его возносить,  
славословя.

Я же  
тропу моего Октября  
вспомню,  
себя изловив на слове  
«искренность»... Трепет летучих искр,  
искренность — блеск непогасшей планеты.  
Искренность —  
это великий риск,  
но без нее  
понимания нету.

Искренность!  
Помоги моему  
сердцу  
жар загорпуть и выскресть,  
чтоб в моем  
неуклюжем уму  
песня вздышалась,  
томясь и искрясь.

Искренность!  
Помоги мне пропеть,  
вспомнивши,  
радостно рассмеяться,  
как человеку  
на дикой тропе  
встретилось сердце  
стучащее  
массы.

Был я  
безликий интеллигент,  
молча гордящийся  
мелочью званья,

ждущий —  
от общих забот вдалеке —  
общей заботы  
победное знамя.  
Не уменьшась  
в темноте норы,  
много таких  
живут по мансардам,  
думая:  
ветром иной поры  
лик вдохновенный их  
творчески задрап.  
Меряя землю  
на свой аршин,  
кудри и мысли  
взбивая все выше,  
так и живут  
до первых морщин,  
первых припадков,  
первых одышек.  
Глянут,—  
а дум  
облыселую гладь  
негде приткнуть  
одинокому с детства.  
Финиш!..  
А метили  
мир удивлять  
либо геройством,  
либо злодейством...  
Так жил и я...  
Ожидал, пламенел,  
падал, метался,  
да так бы и прожил,  
если бы  
не забродили во мне



И не страшно  
                                стало мне грозы,  
нет,  
                не мрак вокруг меня,  
                                не звери,  
лишь бы,  
                прянув на грозы призыв,  
шаг  
                с ее движеньем соразмерить.  
Не беги вперед,  
                не отставай,—  
здесь времен  
                разгадка и решение,—  
в ряд с другими,  
                в лад по мостовой  
трудным,  
                длинным,  
                                медленным движеньем.  
Вот иду,  
                и мускулы легки,  
в сторону не отойду,  
                не сяду.  
Так иди  
                и медленно влеки  
наш суровый,  
                наш Октябрь Десятый.  
Стройтесь, зданья!  
                Высьтесь, города!  
Так иди  
                бесчисленным веленьем  
и движенья силу  
                передай  
выросшим на смену  
                поколеньям.  
Брось окно,  
                войди по грудь в толпу,



И, снѣзясь к подножью  
по ближним и дальним,  
колотится дрожью  
и звоном кандалным...

Неужто ж отныне  
разметана песня  
на хрипы блатные,  
на говор хипесниц?

И жизнь такова,  
что — осколками зарев  
нам петь-торговать  
на всесветном базаре?

Ей будто не додано  
славы и власти,  
и тайно идет она,  
злобясь и ластясь.

С построечной пыли  
я крикну на это:  
«Мы все-таки были  
до черта поэты!»

Пусть смазанной тушью  
на строчечном сгибе  
нас ждет равнодушья  
холодная гибель.

Но наши стихи  
рокотали, как трубы,  
с ветрами стихий  
перепутавши губы.

Пусть гаснувший Гаршин  
и ветреный Пушкин

развеяны в марши,  
расструганы в стружки.

Но нашей строкой  
до последнего вдоха  
была беспокойна  
живая эпоха.

И людям веков  
открывая страницы,  
она — далеко —  
как цветок сохранится.

Тасуй же восторг  
и унынье тасуй же,  
чтоб был между строк  
он прочнее засушен.

Чтоб радостью чаши  
и тяжестью вдоха  
в лицо им сейчас же  
дохнула эпоха.

И запах — душа, —  
еле слышный и сладкий,  
провеял, дыша,  
от забытой закладки!

*1928*

# КУРСКИЕ КРАЯ

---

## ВСТУПЛЕНИЕ

### 1

Хоть и у тебя немало мокрых  
свежих рощ — лишь щеки утирай, —  
я тебя не славлю, курский округ,  
соловьиный край.

Что мне вспомнить? Чем меня дарила  
родина щербатая моя?  
Рытые да траченные рыла —  
пьяные дядья да кумовья.

Со времен забытого удела  
на веки веков  
здесь земля не струнами гудела —  
громом волосатых кулаков.

Били в душу, душу выбить силась,  
а потом — иди ищи,  
кто пустил густую кровь с потылиц,  
чьей свинчаткой свернуты хрящи.

Поднимались, падали, сходились  
городские против слободских,  
плакали, судились,  
торговали, и — не стало их.

Вновь родившись, петь пытались снова,  
но, звериным воем захрипев,  
из зубов, расшибленных с полслова,  
выпадал напев.



И зари пустынное сиянье  
над быльем постылого мирка —  
над Путивлем, Суджей, Обоянью  
гасло, отсверкав.

2

Бор дремучий над рекой гремучей —  
это только песенный галдеж,  
а на деле — не изловишь случай,  
так и пропадешь.

А на деле — скривленные ивы,  
серый свет, что будний день зажег,  
Тускори, холодной и ленивой,  
плоский бережок.

Что ж сказать на путь и на прощанье  
вам, что, в темень времени сбежав,  
все еще грозитесь мне, мещаньи  
выселки с глухого рубежа?

Стойте ж да бывайте здоровеньки!  
Вас не тронет лесь или хула,  
Люшенка да Нижни Деревеньки,  
тенькавшие в донь колокола.

Стойте крепче. Вы мое оплечье,  
вы мои деды и кумовья,  
вы мое обличье человечье,  
курские края.

*1926—1927*

## ДОМ

Дом стоял у города на въезде,  
окнами в метелицу и тьму;  
близостью созвездий  
думалось и бредилось ему.  
Било в стекла заревое пламя,  
плыл рекой туман;  
дом дышал густыми коноплями,  
свежестью, сводящею с ума.  
Он хотел крыльцом скрипучим дергать,  
хлопать ставней, крышей грохотать;  
дом хотел шататься от восторга,  
что вокруг такая благодать;  
что его, до стрех обстав, подсолнух  
рыжей рожей застил от других,  
точно плыл он на прохладных волнах  
калачей и лопухов тугих.  
Что с того, что был он деревянным,  
что приштопан к камню, в землю врос,—  
от него тянулись караваны  
свежих рощ и вороненых гроз.  
Он кружился с ними, плыл и таял  
и живущим помыслы кружил;  
до него от самого Китая  
долетали синие стрижи.  
Он кружился и гримасы корчил,  
млея огнями, тьмою лиловел,  
и его ветров весенних кормчий  
вел других ковчегов в голове.  
А когда рябила осень лужи  
и брало метелицей кусты,  
дому становилось хуже:  
он стоял примолкшим и пустым.  
Только это — с улицы казалось,  
а внутри он полон был и жив;

даже если вызывал он жалость,  
сам себя, смеясь, ловил на лжи,  
так как — зорь зарозовевший иней,  
стекло заалмаженный узор  
вспыхивал и цвел, как хвост павлиний,  
синей и зеленой бирюзой.

И, дымясь под первую порошок,  
коренастый, тихий, небольшой,  
он вставал опять такой хороший,  
со своею дымчатой душой.

И, тепло запечное не тратя  
и забив оконные пазы,  
по косым линованным тетрадам  
он твердил столетние азы.

И, такой же тишью невредимы,  
заморозком взятые в тиски,  
по соседству подымались дымы —  
буден безголосые свистки.

В доме — плыли тени  
кошки, кружки, фикуса, луны,  
детских откровений и смятений,  
тишины и старины.

Сквозь пазы растрескавшихся кафел.  
плыл жарок и затоплял края,  
где басовый стариковский капсель  
гул вливал в рассохшийся рояль.

В доме пели птицы —  
сойки, коноплянки и клесты.

И теперь еще мне щебет снится,  
зори, росы, травы и кусты.

И теперь... Глаза бы не глядели,  
уши бы не слушали иной,  
кроме той передрасветной трели,  
что будила детство за стеной.

И когда, тавровое мещанство,  
я теперь смотрю тебе в глаза,

я не знаю, где я умещался,  
кто мне это в уши наставлял.  
Может, в клетке, может, из-за прутьев,  
горькой болью полный позарез,  
в сны мои протискивался грудью  
свежезаволенный скворец?!  
Потому не дни, не имена я,—  
темный страх в подзорье затая,  
лишь тебя по бревнам вспоминаю,  
дом мой, сон мой, ненависть моя!

*1926—1927*

## ДЕД

Травкою зеленой одет,  
лукавя прищуренным глазом,  
охотничьим длинным рассказом  
прошел и умолкнул мой дед.

Забросив и дом, и жену,  
и службу в Казенной палате,  
он слушал в полях тишину,  
которой за подвиги платят.

Сверкала его «лебедя»  
на двести шагов без отказа,  
и зверю из черного лаза  
двуногая мнилась беда.

Медведицы жертвенный рев,  
на лапах качавшейся задних,  
когда выступал медвежатник  
из мрака безмолвных дерев.

И зимнею ночью он шел  
с волками на честную встречу,  
и ахало эхо картечи  
по занямкам заспанных сел.

Какой там помещичий быт,—  
он жил между сивых и серых  
в оврагах лесов и пещерах,  
прошедших времен следопыт.

И я, его выросший впук,  
когда мне приходится худо,  
лишь злую подушку примну,  
все вижу в нем Робина Гуда,

Зеленые волны хлебов,  
ведущие с ветром беседу,  
и первую в мире любовь  
к герою, к охотнику — к деду.

1927

## БАБКА

Бабка радостною была,  
бабка радугую цвела,  
пирогам да поговоркам  
знаменита и весела.

Хоть прописана в крепостях  
и ценилась-то вся в пустяк,  
по и в этой цене небольшой  
красовалась живой душой.

Не знавала больших хором,  
не училась писать пером,  
не боялась ходить босой  
по лугам, покрытым росой.

В тех лугах на ее на след  
и набрел пересмешник дед.  
Нашутил перед ней, рассмеял,  
всеми росами насыал.

На колени пред ней упал,  
из неволи ее выкупал.  
И пошла она за него,  
за курских глаз его синевой.

Так и жили они с тех пор,  
губы в губы и взор во взор.  
А поссориться доводилось, —  
ненадолго хватало ссор.

Бабка радостною была,  
бабка иволгою плыла  
по-над яблоневыми ветвями —  
мастерица на все дела!

Отглядела на синий лен,  
отшумела под белый клен.  
До сих пор в нее — над рекою —  
соловьиный напев влюблен.

*1927*

## МАЛЬЧИК БОЛЬШЕГОЛОВЫЙ

Голос свистит щегловый,  
мальчик большеголовый,  
встань, протяни ручонки  
в ситцевой рубашонке!

Встань здесь и подожди-ка:  
утро синё и дико,  
всех здесь миров граница  
сходится и хранится.

Утро синё и тихо,  
солнца мокра гвоздика,  
небо полно погоды,  
Сейма сияют воды.

Пар от лугов белёсый  
падает под березы;  
желтый цветок покачивая.  
пчелы гудят в акациях.

Мальчик большеголовый,  
облак плывет лиловый,  
мир еще занят тенью,  
весь в пламенах рожденья.

Не уходи за это  
море дождя и света,  
чуй — кочаны капусты  
шепчут тебе: забудься!

Голос поет щегловый,  
мальчик большеголовый,  
встань, протяни ручонки  
в ситцевой рубашонке!

Огненными вихрами  
сразу пять солнц играют;  
счастье стоит сторицей,  
сдунешь — не повторится!

Шелк это или ситец,  
стой здесь, теплом насытись;  
в синюю плаваясь россыпь,  
искрами брызжут росы.

Не уходи за это  
море дождя и света,  
стой здесь, глазком окидывая  
счастье свое раковое!

*1930*

## ДЕТСТВО

Детство. Мальчик. Пенал. Урок...  
За плечами телячий ранец....  
День еще без конца широк,  
бесконечен зари румянец.  
Мир еще беспредельно пуст:  
света с сумраком поединок;  
под ногой веселящий хруст  
начеканенных за ночь льдинок.  
На душе еще нет рубцов,  
еще мало надежд погребенных;  
среди сотни других сорванцов  
полувазрослый — полуребенок.  
Но за годом учебный год  
отмечает с различных точек  
жизни будущего — господ,  
жизни будущего — чернорабочих.



Дело здесь не в одних чинах,  
не в богатстве, не в блюдах сладких,  
а в наследье веков, в сынах,  
в повторяющихся повадках.

Губернаторский дом был строг:  
полицейский с тяжелой пашкой  
здесь стоял, чтоб никто не смог  
подлететь к нему мелкой пташкой.  
За зеркальным окном — цветы:  
пальмы, крокусы, орхидеи  
из торжественной пустоты  
смотрят в улицу, холодея.  
Здесь смешны тревоженья и стои,  
проявленье волненья и боли;  
здесь и самый свет затенен  
мягким сумраком жирапдолей.  
Здесь слова недоступны нам,  
объясненья сухи и кратки;  
здесь нисходят по ступеням,  
чуть натягивая перчатки.  
У подъезда карета ждет,  
и как будто совсем без усилия  
пара серых с места берет  
и летит, обдавая пылью.

Лишь дворянских выборов съезд  
отражался в начищенной меди;  
поднимались с належающих мест,  
покидая берлоги, медведи.  
Полторацкого номера  
учащенно хлопали дверью:  
эполеты и кивера,  
палантины, боа и перья.  
Все казалось сказкой иной,  
из каренинского быта;

все вздымалось плотной стеной,  
из алмазов и стали слито.  
И от блеска этой игры  
на уезд струилось сиянье:  
так же жил и город Щигры,  
то же делалось в Обояни.

Вот таков же и город Льгов,  
инде звавшийся Ольгов-градом,  
жил среди полей и лугов  
отраженным губернским складом.  
Через Сейм — деревянный мост,  
место праздничных поздних гуляний;  
соловьиный передний пост  
на ракитовой лунной поляне;  
а за ним, меж дубов и ворот  
Князь-Барятинского парка,  
их насажено неупроторот,  
так что небу становится жарко.  
Тут и там, и правей и левей,  
в семь колен рассыпаются лихо, —  
соловей, соловей, соловей,  
лишь впимать поспевай соловьях!  
Соловьями наш край знаменит,  
он не знает безделья и скуки;  
он, должно быть, и кровь пламенит,  
и хрустальными делает звуки.

Города мои, города!  
Сквозь времен продираясь груду,  
я запомнил вас навсегда,  
никогда я вас не забуду.  
Суджа, Рыльск, Обоянь, Путивль,  
вы мне верную службу служили.  
Вы мне в жизнь показали пути,  
вы мне звук свой в сердце вложили.

1930

## ГОРОД КУРСК

Город Курск стоит на горе,  
опоясавшись речкой Тускорь.  
Хорошо к ней слететь в январе  
на салазках с крутого спуска.  
Хорошо, обгоняя всех,  
свежей кожей щек заяблых  
ощущать разомлевший снег,  
словно сок мороженных яблок.  
О, республика детских лет,  
государство, великое в малом!  
Ты навек оставляешь след  
отшумевшим своим снеготалом.  
Ты не сможешь ли сдунуть хмарь  
над житьем, еще пеказистым,  
не позволишь ли стать, как встарь,  
реалистом или гимназистом?  
Не захлопнуть ли вновь урок,  
сухомяткой не лезущий в глотку,  
не пойти ль провести вечерок  
на товарищескую сходку?

Открываются небеса  
никому не известных далей.  
Туго стянуты пояса  
вкруг мальчишеских тонких талий.  
Всякой хитрости вопреки,—  
никому никаких поблажек,—  
снова лечатся синяки  
светлым холодом медных пряжек.  
Снова вьется метель столбом.  
Снова, вызвав внезапный румянец,  
посвящают стихи в альбом  
чьих-то дочек или племянниц.  
Снова клятвы о дружбе навек,

вопреки расстояниям и срокам...  
Подрастает, растет человек,  
с этим главным считаясь уроком.  
И курятся вокруг снега,  
завиваясь в крутом буране,  
и, вадывая времен рога,  
подрастают мои куряне.

Не разгладить ли ветром бровь,  
не припомнить ли вновь старинку,  
не пойти ли сквозь вьюгу вновь  
на товарищескую вечеринку?

Вы, из памяти навсегда  
уходящие без укора,  
собирайтесь вновь, города, —  
моя истинная опора.

Вот он, форточку приоткрыв,  
закурчавленную с мороза, —  
это детской души порыв, —  
сыплет зимней пичуге просо.

Пусть летит этих зерен град  
снегилям и чижам на разжигу.  
Становитесь, все зданья, в ряд,  
по привычному вам ранжиру.

Пусть все улицы поведут  
по намеченному маршруту,  
огоньками и там и тут  
освещая эту минуту.

Я опять на прямом пути,  
на тропе своей стародавней,  
на просторе, а не взаперти,  
позабывших детских преданий!

Город Курск стоит на горе,  
дымом труб дыша на морозе.  
На зеленой зимней заре  
хорошо в нем скрипят полозья.

От дыханья застывший пар  
закурчавленных в иней бород;  
ставший коробом, как у бояр,  
на тулупе овчинный ворот.  
От зари он — как вырезной,  
как узором кованым шитый.  
Старина в нем сошлась с новизной,—  
обе полы времени свиты.  
Сразу даже решить нельзя:  
то ли клики в военном стане,  
собрались ли в поход князя,  
на базар ли спешат крестьяне.  
Мягкий говор, глухое «ге»,  
неотчетливые ударенья,  
словно лебедь блуждает в пурге  
и теряет свое оперенье.  
Он забыл о лазурной судьбе,  
он во мраке кончает скитанье,  
он друзей призывает к себе  
округленную глубию гортани.

Дорогие мои друзья,  
я вас полным именем кличу.  
Вы и впрямь до сих пор князя  
и по стати и по обличью.  
Вы не блеском своих дворцов,—  
вы творцами были на деле,  
вы на землях своих отцов,  
как на княжьем престоле, сидели!

Город Курск на веков гряде,  
неподкупный и непокорный,  
на железной залег руде,  
глубоко запустивши корни.  
Он в овчине густых садов,

в рукавицах овсяных пашеп  
не боится ничьих судов,  
никакой ему враг не страшен.  
Он над малой стоит рекой,  
мочит яблоки, сушит груши  
и не знает еще, что покой  
будет навек его нарушен.  
Он теперь опален огнем,  
а тогда был так безопасен...  
Как давно не бывал я в нем!  
Как я многим ему обязан!

*1930—1943*

## СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

---

### МАРШ БУДЕННОГО

*(Из поэмы «Буденный»)*

С неба полуденного  
жара не подступи,  
конная Буденного  
раскинулась в степи.

Не сынки у маменек  
в помещичьем дому,  
выросли мы в пламени,  
в пороховом дыму.

И не древней славою  
наш выводок богат —  
сами литься лавою  
учились на врага.

Пусть паны не хвастают  
посадкой на скаку, —  
смелем рысью частою  
их эскадрон в муку.

Будет белым помниться,  
как травы шелестят,  
когда несется конница  
рабочих и крестьян.

Все, что мелкой пташкою  
вьется на пути,  
перед острой пташкою  
в сторону лети.

Не затеваем бой мы,  
но, помня Перекоп,  
всегда храним обоймы  
для белых черепов.

Пусть уздечки звякают  
памятью о нем,—  
так растопчем всякую  
гадину конем.

Никто пути пройденного  
назад не отберет,  
конная Буденного,  
армия — вперед!

*1923*

### А. А. АХМАТОВОЙ

Не враг я тебе, не враг!  
Мне даже подумать страх,  
Что, к ветру речей строга,  
Ты видишь во мне врага.  
За этот высокий рост,  
За этот суровый рот,  
За то, что душа пряма  
Твоя, как и ты сама,  
За то, что верна рука,  
Что речь глуха и легка,  
Что там, где и надо б желчь,—



Стихов твоих сот тяжел.  
За страшную жизнь твою,  
За жизнь в ледяном краю,  
Где смешаны блеск и мрак,  
Не враг я тебе, не враг.

*18 апреля 1924*

## О СМЕРТИ

Меня застрелит белый офицер  
не так — так этак.  
Он, целясь, — не изменится в лице:  
он очень меток.

И на суде произнесет он речь,  
предельно краток,  
что больше нечего ему беречь,  
что нет здесь прятков.

Что женщину я у него отбил,  
что самой лучшей...  
Что сбились здесь в обнимку три судьбы, —  
обычный случай.

Но он не скажет, заслонив глаза,  
что — всех красивей —  
она звалась пятнадцать лет назад  
его Россией!..

*1932*

## ПОСЛЕСЛОВИЕ

Краматорский завод! Заглуши мою гулкую тишь.  
Пережги мою боль. Помоги моему неукладу.  
Я читал про тебя и светлел — как ты стройно блестишь,  
как ты гордо зеркалишься сталью от цеха по цеху.  
Это страшно, быть может, что я призываю тебя.  
Представляю твой рост — и мороз продирает по коже.  
Только ты целиком — увлекая, стыдя, теребя, —  
и никто из людей эту тяжесть свалить не поможет.  
Говорят, ты железные можешь чеканить сердца  
и огромного веса умеешь готовить детали.  
Ты берешь эту прорву осеннего будня-сырца,  
чтоб из домен твоих — закаленные дни вылетали.  
Вдунь мне в уши приказ. Огневою рудой отбелей,  
чтоб пошла в переплав полоса этой жизни плохая,  
чтоб и я, как рабочий, присев в полосе тополей,  
молодел за тебя, любовался тобой, отдыхая.  
Говорят, и у Круппа — твоим уступают станки,  
и у Шнейдер-Крезе — не видали таких агрегатов.  
Но и чувства бывают настолько сложны и тонки,  
что освоить их сможет никто — как сквозная бригада.  
Человеческий голос пегромок, хоть он на краю,  
и бывает: все самые тонкие доводы — грубы.  
Краматорский завод! Вся надежда моя на твою  
на могучую силу, на горны твои и на трупы.

1934

# ВЫСОКОГОРНЫЕ СТИХИ

## 1938

---

### ЛЕТНЕЕ ПИСЬМО

Напиши хоть раз ко мне,  
такое же большое  
и такое ж  
жаркое письмо,  
чтоб оно  
топорщилось листвою  
и несло  
по воздуху само.  
Чтоб шумели  
шелковые ветви,  
словно губы,  
спутавшись на «ты».  
Чтоб сияла  
марка на конверте  
желтоглазым  
зайцем золотым.  
Чтоб кололись буквы,  
точно иглы,  
растопившись  
в солнечном огне.  
Чтобы синь,  
которой мы достигли,  
взоры  
заволакивала мне.  
Чтоб потом,  
в нахмуренные хвои

точно,  
ночь вошла темным-темна...  
Чтобы все нам  
чувствовалось вдвое,  
как вдвоем  
гляделось из окна.  
Чтоб до часа утра,  
до шести нам,  
голову  
откинув на руке,  
пахло земляникой  
и жасмином  
в каждой  
перечеркнутой строке,  
У жасмина  
запах свежей кожи,  
земляникой  
млеет леса страсть.  
Чтоб и позже —  
осенью погожей —  
нам не разойтись,  
не запропасть.  
Только знаю:  
так ты не напишешь...  
Стоит мне  
на месяц отойти —  
по-другому  
думаешь и дышишь,  
о другом  
ты думаешь пути.  
И другие дни  
тебе по праву,  
по-другому  
смотришься в зрачки...

И письмо  
про новую забаву  
разорву я накрест,  
на клочки.

1934

## ВДОХНОВЕНЬЕ

Страпе  
не до слез,  
не до шуток:  
у ней  
боевые дела,—  
я видел,  
как на парашютах  
бросаются  
люди с крыла.  
Твой взгляд разгорится,  
завистлив,  
румянец  
скулу обольет,  
следуя,  
как, мелькнувши,  
повисли  
в отвесный  
парящий полет.  
Сердца их,  
рванув на мгновенье,  
забились  
сильней и ровней.  
Вот это —  
и есть вдохновенье  
прилаженных  
прочно ремней.

Казалось:  
уж воздух их вышил,  
и горем  
примята толпа,  
и вдруг,  
как надежда,  
как вымпел,  
расправился  
желтый тюльпан!  
Барахтаться  
и кувиркаться  
на быстром  
отвесном пути  
и в шелковом  
шуме каркаса  
внезапно  
опору найти.  
Страна моя!  
Где набрала ты  
таких  
нерассказанных слов?  
Здесь молодость  
бродит крылата  
и старость  
не клонит голов.  
И самая ревность  
и зависть  
глядят,  
запрокинувшись,  
ввысь,  
едипственной  
мыслью терзаясь:  
таким же  
полетом пестись.

1934

## СЧАСТЬЕ

Что такое счастье,  
милый друг?  
Что такое счастье  
близких двух?

Выйдут москвичи из норок,  
в белом все, в летнем все,  
поглядеть, как на планерах  
дни взмывают над шоссе.  
По шоссе шуршат машины  
на лету, налегке.  
Тополевые пушины —  
по Москве по реке.  
А по лесу, по опушке,  
здесь, у всех же на виду,  
тесно сдвинуто друг к дружке,  
на серебряном ходу  
едет счастье краем леса.  
По опушке по лесной  
пахнет хвоевым навесом,  
разомлелою сосной.  
Едет счастье, едет, едет,  
еле слышен шины хруст,  
медленно на велосипеде  
катит драгоценный груз.  
Он руками обнял стан ей,  
самый близкий, самый свой.  
А вокруг зари блистанье,  
запах ветра, шелест хвой.  
Милая бочком уселась  
у рогатого руля.  
Ветер проявляет смелость,  
краем платья шевеля.  
Едет счастье, едет, едет





Гром железо кует в небесах,  
плети молний секут по вершинам,  
по протравленным едко морщинам,  
как поток,

эту жизнь описав.

Человек на скале —

это быть...

Человек на коне —

это песня,

это —

скалы взлетели отвесно,

это —

ветром взметенная пыль.

Нет, не песни движение и взлет,—

это —

вымершей были восстанье,

это —

средневековый крестьянин  
к небесам свою молодость шлет.

Вот автобус гудит:

обгони!

Разве скачка

для сердца лекарство?

Отдышали в лесах кабаны,  
землю вынюхав мордой клыкастой.  
Бурку вскинув за плечи крылом,  
ты напрасно

коня загоняешь,

ты напрасно

летишь напролом,

ты размера той силы

не знаешь.

И шоферу в кабине нельзя,  
неудобно с тобой состязаться,—  
он машину ведет,

тормозя,

он ведь знает,  
что конь твой —  
богатство.

Я тебя умоляю, молю,—  
это ж  
пчелы умеют из воска,—  
замени отзвеневший аллюр  
на  
крылами плывущую  
плоскость,



замечательную речонку,  
совершенно такую, как ты, —  
неописанной красоты!»

1933—1938

## РОМАН ПРОШЛОГО ГОДА

### 1

Под теплым весенним крутым дождем  
стоит ваш дом.  
Всех сладких весенних дождей вождем  
молчит ваш дом.  
Струится, бормочет и каплет с крыш  
весна и тишь.  
Мы с домом под ливнем — мокры, как мышь...  
Струится с крыш.  
Мы с ливнем вдвоем на крыльце твоём  
о весне поём.  
Со сладким весенним дождем вдвоем —  
на крыльце твоём.

### 2

Ночь соблазнительна. Сами светят  
синью своей небеса.  
Как хорошо, что весна на свете!  
Как это описать?  
Только прислушайся, только приблизься, —  
как эти ветви сочны!..  
Слышишь, как сами шевелятся листья  
этих деревьев ночных?  
Этих ветвей, еще топких и слабых,  
чуешь победную дрожь?

Как этот тонкий и радостный запах  
в каждую голову вхож!..

3

Рука тяжелая, прохладная,  
легла доверчиво на эту,  
как кисть большая випоградная,  
заолодевшая к рассвету.  
Я знаю всю тебя по пальчикам,  
по прядке, где пробора грядка,  
и сколько в жизни было мальчиков,  
и как с теперешним несладко.  
И часто за тебя мне боязно,  
что кто-нибудь еще и кроме  
такую тонкую у пояса  
тебя возьмет и переломит.  
И ты пойдешь свой пыл раздаривать,  
и станут гаснуть окна дома,  
и станет повторенье старого  
тебе — до ужаса знакомо.  
И ты пойдешь свой пыл растрчивать...  
Пока ж с весной не распрощаться,  
давай всерьез, по-настоящему,  
поговорим с тобой про счастье.

4

Помнишь: поезд, радостен и скор,  
скатывался с гор,  
темным лоском ливня остеклен,  
падал под уклон.  
Машипист, должно быть, не жалел угля,  
разгонял стремглав.  
Паровоз, должно быть, не жалел колес,  
нажимал всерьез.

Это было счастье. Счастьем зашатав,  
грохотал состав.  
Этот грохот, этот запах смол  
и сейчас не смолк.  
Он стоит, застыв на всех парах,  
как туман в горах.

5

Губы, перетравленные ложью,  
сложенной на тысячу ладов;  
груди, перетроганные дрожью  
рано наступивших холодов.

По одной-единственной примете,  
как охотник птицу по перу,  
помнишь, я предсказывал про эти  
меркнущие окна ввечеру.

Молодость твоя пройдет впустую,  
никого путем не обожжет,  
колесом впустую, вхолостую  
перекаати-полем пропадет.

Именно такая, не иная  
все она мне чудится кругом;  
может, про нее я вспоминаю  
чаще, чем о чем-нибудь другом.

Ты хотела спеться и сдружиться  
и подушкой бросить на кровать,  
что должно носиться и кружиться  
и тревогой-ветром обдавать.

*1933—1938*

# МАЯКОВСКИЙ НАЧИНАЕТСЯ

*(Главы из поэмы)*

---

## МАЯКОВСКИЙ РЯДОМ

Мне  
и рубля  
не накопили строчки...  
Маяковский. «Во весь голос»

Не в приступе сожалений поздних  
и не для того,  
чтоб умаслить молву,—  
боясь,  
чтоб не вышел  
великопостник,—  
я пачинаю эту главу.  
Мне в Маяковском  
важны — не мощи,  
не взор,  
горящий бесплотным огнем;  
страшусь,  
чтоб не вышел он  
суше и площе,  
чем жизнь —  
всегда клокотавшая в нем.

Теперь,  
на стене,  
застеклен и обрамлен,  
глядит он с портретов,  
хмур и угрюм.  
А где ж  
его яростный темперамент,  
езде поднимавший

движение и шум?  
Разве  
из этого матерьяла  
он сделан,  
что тащат биографы в ГИХЛ?  
В нем каждая жилка  
жизнью играла  
и жизнью играть  
вызывала других!

Но мало было игроков:  
один — хоть смел,  
да бестолков;  
другой — хоть и толков,  
да скуп:  
навар —  
на свой спимает суп...  
Обычный вид:  
соратник  
тыщонка сто царапнет  
и мчит,  
зажав под мышку,  
запихивать на книжку.  
Устроились все,  
от велика до мала;  
обшились, отъелись,  
зажили на дачах.  
Такая ли участь  
его занимала —  
зарытых костей  
да зажатых подачек?  
Он все продувал  
с быстротою ветра;  
ни денег,  
ни силы своей — не жалел.  
Он сердца валюту



растрачивал щедро.  
Сердца — а не желе!

Не с тем,  
чтоб пополнить  
прорехи бюджета,  
в заре,  
наклоня вихор к вихру,  
мы с ним заигрывались  
до рассвета  
в разную карту,  
в любую игру.  
Он играл  
на все,  
что мнилось, пелось —  
сердцу человеческому сродни.  
Он играл  
на радость и на смелость,  
на большого будущего дни.  
Ветерком рассветным обвеваем,  
заполняя улицу собой,  
затевал он игры  
и с трамваем,  
с солнцем, с башней, с площадью,  
с судьбой.  
Город спал,  
тащились в гору клячи,  
падал редкий сухонький снежок;  
он сказал мне:  
«После неудачи  
пишется особенно свежо!»

Вкрут его фигуры  
прочной, ладной  
воздух накалялся до жары,  
и летели

в празелень бильярдной  
лузами мелькавшие шары.  
Вкруг него  
болельщики, арапы,  
мазтики, маркеры и жучки  
горбились, теснились —  
поцарапать,  
оборвать червончиков клочки.  
Ну и шла ж игра!  
Кии сгибались,  
фонари мигали с потолка —  
на огромно выпяленный палец,  
на овал  
тяжелого белка.  
Все огнем текло:  
партнеры, ставки  
разной масти и величины;  
разгорался  
самый тугоплавкий;  
были все  
в игру вовлечены.  
Кто-то  
кофе пил в соседнем зале;  
чьей-то рыбы блекла чешуя...  
«Вы вдвойне идете!  
Заказали?  
Не платите:  
отвечаю я!»

Суетится  
один краснобай несвежий,  
по брюшку цепочкой обвит...  
Маяковский  
в угол  
крупного режет,  
а тот ему под руку

говорит:  
«Опускайся на дно,  
понапрасну сил,  
дорогуша моя,  
не трать!»  
Маяковский  
плечом его отстранил  
и продолжает играть.  
«Ну, такого не сделать ему  
нипочем!  
Это вам —  
не стишки писать!»  
Маяковский  
оттер его вновь плечом  
и опять продолжает играть.  
Наконец,  
когда случилось рядом  
стать, —  
как будто видя в первый раз,  
Маяковский  
кинул сверху взглядом,  
за цепочку взял его,  
потряс...  
Застыл остряк  
с открытым ртом:  
«Златая цепь на дубе том!»

Пишут,  
бодрясь от вздыбленных слов,  
усилием морща лоб,  
и мелких статей  
небогатый улов  
бумажным венком — на гроб.  
Что есть,  
что нету их —  
все равно:

любительское дрянцо.  
А лучше всех его помнит  
Ариольд —  
бывший эстрадный тапцор.  
Он вежлив, смугл, высок, художав,  
в глазах — и грусть и задор;  
закнь ему за спину  
край плаща —  
совсем бы тореадор.  
Он был ему спутником  
в дальних ночах;  
бывают такие —  
неведомы  
в людской телескоп,  
а небесный рычаг  
их движет  
вровень с планетами.  
Он помнит  
каждое слово и жест,  
живого лица выражение.  
Планета погасла,  
а спутник — не лжец —  
еще повторяет движение.

Собрались однажды  
любители карт  
под вечер на воле  
в Крыму.  
И ветер,  
как будто входя в азарт,  
сдувал  
все ставки  
к нему.  
Как будто бы ветром —  
счастья посыл  
в большую его ладонь.

И Маяковский,  
довольный, басил:  
«Бабочки на огонь!»  
Азарта остыл каленый нагрев;  
на море — и тишь и гладь;  
партнеры  
ушли во тьму, озверев...  
«Пойдем, Арнольд, погулять!»  
«Пошли!»  
«Давай засучим штаны,  
пошлепаем по волне?»  
«Идет!» — И вдаль уходят они  
навстречу тяжелой луне.  
Один высок,  
и другой высок,  
бредут — у самой воды,  
и море,  
наплескиваясь на песок,  
зализывает следы...  
Вдруг Маяковский  
стал, застыв,  
голову поднял вверх.  
В глазах его  
спутники с высоты  
отсвечивают пересверк.  
Арнольд задержался  
в пяти шагах.  
Спит берег, и ветер стих.  
Стоит, наблюдает,  
решает: «Ага!  
Наверное, новый стих?»  
Вдруг до них  
из дальней дали,  
лунной ленью залитой:  
«Мы на лодочке катались,  
золоти-и-стый, золотой!»

Где-то лодка в море чалит,  
с лодки — голос молодой,  
и тревожит и печалит  
эта песня над водой.  
И сама влетает в уши:  
«Золотистый, золотой!» —  
и окутывает душу  
в свежий вечер теплотой.  
И молчим мы  
или спорим,—  
замирая вдалеке,  
все плывет она над морем,  
не записана никем.  
Маяковский  
шел под звездным светом,  
море отражало небеса.  
«Я б считал себя  
законченным поэтом,  
если б смог  
*такую*  
написать».

Все так же поют  
соловьи в Крыму,  
которых не услыхать ему.  
Все те же горы  
в сизом дыму,  
которых не оглядеть ему.  
Иудипо дерево цветет,  
розовое от пен.  
А он под ним  
никогда не пройдет,  
отгрохотав,  
отпев.  
И столько новых  
людей родилось,

что всех их  
взглядом не охватить,  
с которыми в жизни  
не удалось  
ни познакомиться,  
ни пошутить.  
А он —  
с самим Ай-Петри шутил,  
гудки пароходные попымал  
и с самым жарким из наших светил  
густой настой земли распивал.  
И столько новых  
событий и дел  
построились в мировой парад.  
И без него,  
крутясь, прогудел  
над Барселоной первый снаряд.  
И новые пчелы  
несут свой мед,  
и новые змеи  
копят свой яд.  
Но знает Земля,  
что свое возьмет  
над счетом горечей  
и утрат.  
Над сипевой  
углубленных рек,  
над глубиной  
плодоносных руд —  
настанет он,  
непреложный век,  
где будет  
сладок  
и пот и труд!  
Наступит он  
со всей полнотой,

чей облик  
нам лишь по песне  
знаком,  
кого мы звали:  
«Приди, золотой!» —  
своим пересохнувшим языком.  
И голос-сокол  
сойдет на низы,  
неискоренным и непобедим.  
И мы его снова  
услышим вблизи  
совсем нерастраченным  
и молодым.

## КОСОЙ ДОЖДЬ

А зачем  
любить меня Марките?!  
М а я к о в с к и й. «Домой!»

Мы все  
любили его за то,  
что он не похож на всех.  
За неустанный его задор,  
за неумный смех.  
Тот смех  
такое свойство имел,  
что прошлого  
рвал пласты;  
и жизнь веселела,  
когда он гремел,  
а скука  
ползла в кусты.  
Такой у него  
был огромный путь,



такой ширины шага, —  
что слышать его,  
на него взглянуть  
сбегались друзья и враги.  
Одни в нем видели  
остряка,  
ломающего слова;  
других —  
за сердце брала строка,  
до слез горяча и жива.

Вот он встает,  
по грудь над толпой,  
пад поясом всех широт...  
И в сумрак уходит  
завистник тупой,  
а друг  
выступает вперед.  
Я доли десятой  
не передам,  
как весел и смел его взгляд;  
и — рукоплесканье  
летит по рядам  
строке,  
попадающей в лад.  
Ладони бьют,  
и щеки горят...  
Еще ли — усмешка коса!  
За словом —  
слова тяжелый снаряд  
летит, шевеля волоса.  
Советский недруг,  
остерегись,  
попятившись,  
кройся вдаль, —  
так страшно

голоса нижний регистр  
надавливает педаль.  
Все шире плечи,  
прямей голова,  
все искристее глаза...  
Еще,  
и еще,  
и еще наплывай,  
живительная гроза!  
И вдруг —  
как девушку —  
нежной рукой —  
обнимет веселой строкой.  
А это —  
надобно понимать,  
как девушек обнимать.  
Он их обнимал,  
не обижая,  
ни одной  
не причиняя зла;  
ни одна,  
другим детей рожая,  
от него обид  
не понесла.  
Он их обнимал  
без жестов оперных,  
без густых  
лирических халтур;  
он их обнимал —  
пустых и чопорных,  
тоненьких  
и длинноногих дур.  
Те, что поумней  
да поприглядистей,  
сторонились:  
не шути с огнем!

Грелись  
у своих семейных радостей,  
рассуждая:  
«Нет уюта в нем!»

Что б из них  
додуматься какой-нибудь  
кинуться на шею  
на века!

Может бы,  
и не пришлось покойному  
навзничь лечь  
на горб броневи́ка.

Нет,  
не кинулись.  
Толстели,  
уложив в конце концов  
на широкие постели  
мелкотравчатых самцов.

Может,  
и взгрустнет иная,  
воротясь  
к себе домой,  
давний вечер  
вспоминая,  
тайно от себя самой.

Только  
толку в этом мало —  
забираться в эту глушь...

Погрустила  
и увяла:  
дети,  
очереди,  
муж.

Нет!  
Ни у одной

не стало смелости  
подойди  
под свод крутых бровей;  
с ним одним  
навек остаться в целости  
в первой  
свежей  
нежности своей.  
Только ходят  
слабенькие версийки,  
слухов  
пыль дорожную крутя,  
будто где-то  
в дальней-дальней Мексике  
от него затеряно дитя.

А та,  
которой он все посвятил,  
стихов и страстей  
лавину,  
свой смех и гнев,  
гордость и пыл, —  
любила его  
вполовину.  
Все видела в нем  
недотепу-юнца  
в рифмованной  
оболочке:  
любила крепко,  
да не до конца,  
не до последней  
точки.

Мы все любили его  
слегка,  
интересовались громадой,

толкали локтями его  
в бока,  
пятнали  
губной помадой.  
«Грустит?» —  
любопытствовали.  
«Пустяки!»  
«Обычная поза поэта...»  
«Наверное,  
новые пишет стихи  
про то или про это!»  
И снова шли  
по своим делам,  
своим озабочены бытом,  
к своим постелям,  
к своим столам, —  
оставив его  
позабытым.  
По рифмам дрожь —  
мы опять за то ж:  
«Чегой-то киснет Володичка!»  
И вновь одна,  
пикому не видна,  
плыла любовная лодочка.  
Мы все любили его  
чуть-чуть,  
не зная,  
в чем суть  
грозовая...  
А он любил,  
как в рога трубил,  
в других аппетит вызывая.  
Любовью —  
горы им снесены;  
любить —  
так чтоб кровь из носу,

чтоб меры ей не было,  
ни цены,  
ни гибели,  
ни износу.

Не перемывать чужое белье,  
не сплетен сплетать околесицу, —  
сырое,  
суровое,  
злое бывшее  
сейчас под перо мое просится.  
Теперь не время судить,  
кто прав:  
живые шаги его пройдены;  
по пуще всего  
он темнел,  
взревновав  
вниманию  
матери-родины.

«Я хочу  
быть понят моей страпой,  
а не буду понят, —  
что ж,  
по родной стране  
пройду стороной,  
как проходит  
косой дождь».

Еще ли молчать,  
безъязыким ставши?!  
Не выманите  
меня на то.  
В стихах его  
имя мое —  
не ваше —

четырежды ушомяпуюто.  
Вам еще  
лет до ста учиться  
тому,  
что мне  
сегодня дано;  
видите:  
солнце  
вовсю лучится,  
а петушок уж пропел  
давно!

Страна работала  
не покладая рук,  
оттачивала  
острие штыка  
и только изредка  
вбирала сердцем звук  
отважного,  
отборного стиха.  
Страна работала,  
не досыпая снов,  
бурила, строила,  
сбирала урожай, —  
чтоб счастьем пропитать  
всю землю до основ,  
от новых городов  
по древние Можай.

Ей палки впихивали  
в колесо  
подъемного в гору движенья;  
то там,  
то здесь появлялось лицо  
зловещего выраженья.  
И желчный,

сухой,  
деревянный смешок,  
и в стеклышках —  
тусклые страсти,  
и трушный душок:  
всю Россию в мешок —  
лишь нам бы  
добратся до власти.  
Лицо это,  
тайно дробясь и мельчась,  
клубилось  
в размноженном скопе:  
то разом оно возникало,  
то часть  
его повторявшихся копий.  
В нем прошлое  
брать собиралось реванш  
у нового  
лозунгом злобным:  
«Разрубим ребенка!  
Не ваш и не наш!  
Уйдем,  
но — уж дверью-то хлопнем!»  
Да, дел было пропасть.  
Под тенью беды  
куда уж там слушать «Про это».  
Мутили ряды,  
заметали следы  
фигуры защитного цвета.  
И вот,  
покуда — признать, не признать? —  
раздумывали, гадая,  
вокруг него  
поднималась возня  
вредителей и негодяев.  
«Кого?



Маяковского?  
Что за птица?» —  
кривой усмешкою меря...  
Стихом к тупице  
не подступиться —  
сляхой кипит в недоверии:  
«Да он недоступен  
широким массам!  
Да что с ним Асеев  
тычется!  
Да он подбирался  
к советским кассам  
с отмычкою футуристической!»  
А он любил,  
как дрова рубил,  
за спину  
кубы отваливая;  
до краски в лице,  
до пули в конце  
вниманье стиху вымаливая.

Как медленно  
в гору  
скрипучий воз  
посмертной тянется славы!..  
Обоз обгоняя,  
взвиваю до звезд  
его возносящие главы.  
Мотор разорвется,  
быть может,  
в куски:  
штормами  
его укачало.  
Но прошлого тропы  
движенью — узки:  
конец — означает начало.

## ПЛОЩАДЬ МАЯКОВСКОГО

Если б был я  
Вандомская колонна,  
я б женился  
на Place de la Concorde.  
Маяковский. «Город»

Нет, не она,  
не площадь Согласия,  
стала его настоящей женой,  
и не в ее фонарей желтоглазие  
сердце расплавлено и обожжено.  
Другая,  
глазу привычней и проще,  
еще не обряженная в грапит,  
еще в лесах строительных  
площадь  
имя его несет и хранит.  
Когда на троллейбусе  
публика едущая  
услышит надсадный  
кондукторшин крик:  
«Площадь Пушкина,  
Маяковского — следующая!» —  
поймешь,  
как город к нему привык.

Как стал он вхож  
в людские понятия!  
Как близок строчкой,  
прям и правдив!  
Ведь ни по приказу,  
ни на капате  
к себе не притянешь,  
сердца обратив...

Читая,  
начнешь стихи его путать,—  
сейчас же  
сто голосов —  
на подсказ! —  
как будто  
не я,  
а они  
как будто  
встречались с ним  
по тысяче раз.

Ведь это  
не выдумка барда бахвальная:  
вот этот асфальт,  
и эти огни,  
и площадь —  
не старая Триумфальная,  
и — с Пушкиным рядом  
встали они!  
И все повседневней,  
все повсеместней  
становится —  
миром  
его родня.  
Сюда он шагал  
с Большой своей Пресни,  
с шагов своих первых,  
с мальчишьяго дня.  
Сюда по Садовым,  
по Кудринским вышкам,  
по куполам твердых  
булыжных мозгов,  
по снежным подушкам,  
по жирным одышкам —

широких шагов  
направлял он разгон.

Она  
Маяковского площадью  
названа;  
не очень еще ее пышен уют;  
и много парода, самого разного,  
ее заполняют, толкуются, спуют.  
Еще не обрушены  
плоские здания,  
но уже тем сна  
хороша,  
что — въявь пределы ее  
стародавние  
раздвинула  
новых привычек душа.  
Две буквы стоят  
квадратные, строчные,  
как сдвоенный вензель печати ММ,  
как плечи широкие,  
крепкие,  
прочные  
у входа —  
открытого всем, всем, всем.  
Москвы в путро  
ведет метро;  
одип вагон,  
другой вагон;  
а он на нем  
не ездил;  
не видел он  
стальных колонн,  
подземных ламп —  
созвездий.

И — глянешь в пролет  
обновляемых улиц:  
не тень ли метнулась  
широкой полы?  
Не эти ли плечи  
с угла повернулись?  
Не шляпой ли машет  
он издали?  
Он здесь.  
Он с нами  
остался навечно.  
Ему в людской густоте —  
по себе.  
Оп — воп он -- шагает,  
большой и беспечный,  
к своей неустроенной  
славной судьбе!

Как он шагал,  
как проходил,  
как пробивался Москвою  
шагом широким,  
шагом большим, —  
крупной походкой мужскою.  
Ботинки номер сорок шесть!  
Другим — вдвоем бы можно влезть  
и жить уютно в скинутом,  
согнув дугою спину там.  
А оп — не умел сгибаться дугою,  
он весь отличался  
повадкой другою, —  
шагал,  
развернувши  
тяжелые плечи,  
высокой походкою  
человечьей.

И после каждого  
его шага  
метелью за ним  
завивалась сага.

Однажды мы выехали  
с Оксаной  
вдвоем из гостей  
по дорожке санной...  
А он рядом  
зашагал пешком,  
подошвы печатая  
свежим снежком.  
Тогда еще в моде  
извозчики были  
и редко работали  
автомобили.  
Возница на клячу  
чмок да чмок  
и все же его  
обогнать не смог.  
И нас  
на полсажня опередя,  
дорогу под носом  
у нас перейдя,  
он стал  
и палкой нам отсалютовал,  
дескать: «Привет!  
До свиданья! Покудова!»

И в этом жесте  
мальчишеском, гордом,  
который движение и радость таит,  
хотел бы я,  
чтоб стал он  
пад городом,

как в памяти нынче в моей  
он стоит.  
Стоял,  
весельем  
и силою вея,  
чтоб так бы его  
наблюдала толпа:  
в пальтишке коротеньком  
от Москвошвея,  
в шапчонке,  
сбитой к затылку со лба.  
Вот так,  
во всем и везде  
впереди, —  
еще ты и слова не вымолвишь, —  
он шел,  
за собой увлекая ряды,  
Владимир Необходимович!

Но мысли о памятнике —  
пустые.  
Что толку,  
что чучело вымахнут ввысь?!  
Пускай эти толпы  
людские густые  
несут его силу,  
движение  
и мысль.  
Пока поток  
не устанет струиться,  
пока не иссякнет  
папор буревой,  
он будет в глазах  
двоиться, тронься,  
в миллионные массы  
впедрясь живой.

На Мехико-сити,  
в ущельях Кавказа,  
в протоках парижского сквозника —  
он будет повсюду  
в упор, большеглазо,  
строкою раскручиваясь,  
возникать.

И это —  
не окаменелая глыба,  
не бронзовой маски  
условная ложь,  
а вечная зыбь  
человечьих улыбок,  
сердец человеческих  
вечная дрожь!

## ЭПИЛОГ

Сегодня  
с дерев срываются листья,  
и угол меняет  
земная ось,  
и лес  
как шуба становится лисья —  
продут  
и вызолочен насквозь.  
И в свисте  
этих порывов грубых,  
что мусорный шлейф  
подымают, влача, —  
писатель  
задумывается о шубах  
и прочем отребье  
с чужого плеча.  
Писательство —  
не искусство наживы,



и зря нашу жизнь  
проверять рублем.  
При этом  
всплывут —  
которые лживы,  
потонут —  
кто в строчку до слез влюблен...

А впрочем,  
к чему предъявлять обвинения, —  
нужны организму  
и нервы,  
и слизь.  
Страна была — светом,  
они были — тепью,  
а свету без тени  
не обойтись.  
Пуškai существуют,  
меня не тревожа,  
и, если  
о них я теперь и пишу, —  
крепка моя сила,  
груба моя кожа, —  
я землю  
для будущего пашу.  
Чтоб новая  
радостная эпоха —  
отборным зерном человечьим  
густа —  
была от бурьяна  
и чертополоха  
обезопасена  
и чиста.  
Чтоб не было в ней  
ни условий,  
ни места

для липких лакеев,  
ханжей  
и лжецов,  
для льстивого слова,  
трусливого жеста;  
чтоб люди людей —  
узнавали в лицо.  
Чтобы Маяковского  
облик веселый  
сквозь гущу веков  
продирался всегда...  
Им будет —  
я знаю! —  
Земли новоселы,  
какая-то названа  
вами  
звезда.

*1936—1939*

## ВТОРАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ

---

### ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ!

Война в наши двери стучится,  
предательски ломит в окно,—  
ну что же, ведь это случится  
когда-нибудь было должно!

Об этом и в песнях мы цели,  
и думали столько годов:  
за нами высокие цели,  
чтоб каждый был драться готов...

Охвачена мыслью одною,  
всей массой объединена,  
встает большевистской стеною  
взволнованная страна.

Не будем ни хвастать, ни охать;  
нам в мире с фашизмом — не быть;  
кровавую руку — по локоть  
должны мы ему обрубить.

Вперед — и без остановки!  
Фашизм разгромим навсегда,  
чтоб это проклятое слово  
исчезло с земли без следа;

Чтоб эти кровавые руки  
детей не пугали в ночах;

чтоб ихней звериной науки  
погас зараженный очаг.

Вперед — и победа за нами,  
за славной советской самой —  
гордящейся сыновьями  
двухсотмиллионной семьей!

*23 июня 1941*

## ПОЛЕТ ПУЛЬ

Ребенок вдали закричал:  
«Не падо, не падо, не падо!»  
Пронзительный крик отвечал  
на то, чему сердце не радо;

На то, чему чужды зрачки,  
и губы, и руки, и ноги;  
разодрано время в клочки  
стенаньем воздушной тревоги.

Вот так начиналась война,  
пред нею — все звуки не громки:  
качается квартиры стена,  
и рухнут на плечи обломки.

Ударит тяжелый снаряд,  
разметет железо и камень, —  
и старые стены горят,  
нетронутые веками.

Все стало непрочным, как дым,  
и думалось горестно людям:  
«Умрем или победим!»  
Мы этих времен не забудем.

Потом мы привыкли к войне  
и стали носить ее имя,  
и стали, обычны вполне,  
детали ее — бытовыми.

Набухши ее молоком,  
дыханьем ее ядовитым,  
мы взгляд устремляли мельком  
к обманам ее и обидам.

Мы стали до губ тяжелеть  
под всем, что на сердце сгружалось.  
Железо ли надо жалеть?  
Железо не знает про жалость!

И только на душах налет,  
как бы от гранильного плака,  
ее непомерных тягот,  
ее несводимого знака.

Мы сами втянулись в валы  
стальных и железных прокатов,  
и сами вложились в стволы  
нацеленных автоматов.

Поэтому — неотвратим —  
растет наш напор, прибывая;  
мы сами, как пули, летим,  
сквозь воздух летим, запевая.

Сквозь время летим и поем  
и светимся сами от пеня —  
о самом большом, о своем  
предел перешедшем терпенье.

Уже нас назад не вернуть,  
мы порохом пущены в дело,

навек проложённый путь  
должны долететь до предела.

Рукой нас теперь не словить,  
как взмывшую в небо комету,  
броней не остановить, —  
на свете брони такой нету.

Мы насквозь ее просверлим,  
куда бы враги ни засели,  
покуда не дрогнет Берлин,  
пока не ударим по цели!

1941

## ЭТО — МЕДЛЕННЫЙ РАССКАЗ...

Это — медленный рассказ,  
как полет  
туч.  
Это Северный Кавказ —  
мощный взмет  
круч.

Здесь ни пеший, ни ездок  
не пройдет  
скор, —  
через Нальчик и Моздок  
смотрит смерть  
с гор.

Все затянется корой,  
схлынет в шум  
рек.

Грозный год сорок второй  
не забыть  
ввек!

Враг ударил на Черкесск,  
Пятигорск  
пал.  
Враг пошел наперерез  
вековых  
скал.

По долине Теберды,  
через горб —  
мост  
перекинул он ряды,  
растянул  
хвост.

Он преграды прорывал,  
бил гранат  
град,  
на Клухорский перевал  
подымал  
взгляд.

Вот куда он залетел,  
до каких  
мест!  
В сердце гор он захотел  
вбить кривой  
крест.

Подымалось на дыбы  
все —  
врагу встречь:

корнем вверх пошли дубы  
на завал  
лечь.

На альпийские луга  
с ледников  
сверк,  
чтоб скользящая нога  
не прошла  
вверх.

Злобно щерил враг клыки,  
щурил злой  
глаз.  
Волчьи горные полки  
тщились сбить  
нас.

Но у наших медвежат  
не был дух  
слаб,—  
враг был стиснут и зажат  
между их  
лап.

Захрустел его костяк,  
унялась  
спесь,  
и недолго он в гостях  
побывал  
здесь.

Обвалился грязи груз,  
вновь чиста  
даль.



Не склонился Эльбрус  
под его  
сталь.

Это — медленный рассказ,  
тяжкий ход  
туч.  
Это Северный Кавказ —  
мощный взмет  
круч.

Здесь ни пеший, ни ездок  
не пройдет  
скор,—  
через Нальчик и Моздок  
шел громов  
спор!

1943

## НА ВЫСТАВКЕ «КОМСОМОЛ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ»

Это были все  
бойцы решительные,  
делу верные,  
ребята свойские.  
Пулями  
к телам их  
попришитые,  
кровью смочены  
билеты комсомольские.  
Если приглядеться  
взглядом пристальным,—

кровь  
где сплошь позапеклась,  
где пятнами..  
Ни один не скошен  
четким выстрелом:  
все —  
очередями автоматными.  
По десятку пуль им  
в сердце всажено,  
по билетам —  
след от дыр протянут:  
бил вслеую,  
глаз зажмурив,  
вражина,  
видно, бил, боясь:  
«А ну как встанут!»  
Встаньте все вы здесь —  
без всякой мистики,  
строим  
непоколебимых воинств,  
подымитесь в рост  
на вечной выставке  
высших  
человеческих достоинств.  
Вы задаром  
выстрелов не тратили,  
берегли  
для точного ответа.  
В бой идя,  
не рвали и не прятали  
в землю  
комсомольского билета.  
Юность вы свою  
ценили дорого;  
первый пух  
едва вам щеки тронул.



# ПИСЬМА К ЖЕНЕ, КОТОРЫЕ НЕ БЫЛИ ПОСЛАНЫ

## 1

В первую  
прожитую войну  
ты сохранил от смертей  
жену.

Сколько вам вместе  
грозило их:  
пуля, холера,  
чума и тиф!

Ты рядового  
шинель сносил,  
помощи  
ни у кого не просил;  
в кипени  
воинских волн гребя,  
ты лишь рассчитывал  
на себя...

Правда, кругом —  
лишь в вагон застучи —  
сразу б откликнулись  
бородачи:  
тридцать четвертый  
стрелковый  
не продавал за целковый!

Что же теперь-то,  
как стал седей,  
ты понадеялся  
на людей?  
Сам себя отдал

на ихний суд,  
веря, что выручат,  
что спасут,  
всею штыков щетиной  
вставши,  
как друг единый!

Тридцать четвертого  
нет полка,  
поступь его  
замерла, гулка,  
взмет его рук походный,  
счет номеров повзводный...

Был у тебя  
закадычный друг —  
ты его поразменял на двух;  
четверо сделалось  
из двоих;  
тысячи стали  
друзей твоих.

Только куда ж они  
делись все?  
Так и сошли,  
как туман по росе,  
так и развеялись  
по фронтам,  
неуследимы  
ни здесь, ни там...

2

Горькой обидой  
меня не клейми...  
Земля из-под ног  
уплывала, скользя.

Я пробивался к тебе,  
но — пойми,  
я прорывался к тебе,  
но — нельзя!

Я столько и так  
про тебя писал,  
что, если были бы небеса,  
они бы услышали  
мой призыв,  
они бы сошли к нам  
на пизы!..  
Но нет у небес  
ни ушей, ни глаз,  
не видят они  
и не слышат нас.

3

Те же на небе детали,  
тот же воздух,  
тот же зной,  
так же ласточки летали,  
только нет  
тебя со мной.

Четверть века  
жили вместе,  
вместе, мнили, умирать,  
а теперь  
я даже вести  
не могу тебе подать.

Нет, не бомбы гром  
мне страшен,  
он убьет — ударит враз,—

равнодушье серых пашен,  
безразличие чуждых глаз.

Раздуваемая вечно,  
как пустой кузнечный мех,  
беспощадно, бессердечно  
ссылка вечная на всех.

4

Мне никогда  
себе не простить:  
как я смог ее отпустить!  
Как я смел доверить другим  
скрыть ее в этот жар,  
в этот дым!  
Как мне не было  
слать ее жаль  
в немилосердную  
эту даль?!

Думал: ведь стрелочники-то  
свои?  
Почвы под рельсом  
родной слои?  
Где-то ведь есть  
впереди водоем,  
где мы напьемся  
с нею вдвоем?!

Нет водоема —  
земля суха.  
О, долети ж до нее, строка  
слов моих,  
слез моих  
души моей,

жар ее губ охлади,  
обвей!

Может быть, можно  
еще вернуть,  
можно, может быть,  
сохранить?  
Ведь не до дна ж  
докричалась грудь,  
не до конца  
натянулась нить?!

Нет! Ничего не возвратишь.  
Нравоучительный голос  
сух.  
Стих перед ним,  
как речной камыш,  
к шелесту нашему  
слух их глух.

Не обвиняй же меня,  
жена;  
сердце мое  
смертельно скорбит:  
душу, как кожу,  
эта война  
кровью запекшеюся  
дубит.

5

Через ветер, через вьюгу,  
через сумрак ледяной  
мы бросаемся друг к другу:  
«Где ты?  
Здесь ли ты со мной?»



Проверять души неложность,  
крепость дружеской руки —  
это тоже наша должность  
всякой догме вопреки.

Не гнездо свое куличье  
возвышаю я, хваля, —  
человечности обличье  
завтра взалчет  
вся земля.

Потому всегда, повсюду  
на поверхности земной,  
как во сне, метаться буду:  
«Где ты?  
Здесь ли ты со мной?»

1943

## НАДЕЖДА

Насилье родит насилье,  
и ложь умножает ложь;  
когда нас берут за горло,  
естественно взяться за нож.

Но нож объявлять святыней  
и, вглядываясь в лезвие,  
начать находить отныне  
лишь в нем отражение свое, —  
нет, этого я не сумею,  
и этого я не смогу:  
от ярости онемею,  
но в ярости не солгу!

Убийство зовет убийство,  
но нечего утверждать,  
что резаться и рубиться —  
великая благодать.

У всех, увлеченных боем,  
надежда горит в любом:  
мы руки от крови отмоем,  
и грязь с лица отскребем,  
и станем людьми, как прежде,  
не в ярости до кости!  
И этой одной надежде  
на смертный рубеж вести.

*1943*

## РАЗНОЛЕТЬЕ

---

### СОЗИДАТЕЛЮ

Взгляни: заря — на небеса,  
на крышах — инеем роса,  
мир новым светом засиял,—  
ты это видел, не проспал!

Ты это видел, не проспал,  
как мир иным повсюду стал,  
как стали камни розоветь,  
как засветились сталь и медь.

Как пробудились сталь и медь,  
ты в жизни не забудешь впредь,  
как — точно пену с молока —  
сдул ветер с неба облака.

Да нет, не пену с молока,  
а точно стружки с верстака,  
и нет вчерашних туч следа,  
и светел небосвод труда.

И ты внезапно ощутил  
себя в содружестве светил,  
что ты не гаснешь, ты горишь,  
живешь, работаешь, творишь!

1946

Вещи — для всего народа,  
строки — на размер страны,  
вровень звездам небосвода,  
в разворот морской волны.

И стихи должны такие  
быть, чтоб взлет, а не шажки,  
чтоб сказали: «Вот — стихия»,  
а не просто: «Вот — стишки».

1947

## ГЛЯДЯ В НЕБЕСА

Как лед облака, как лед облака,  
как битый лед облака,  
и синь далека, и синь высока,  
за ними — синь глубока;

Летят облака, как битый лед,  
весенний колотый лед,  
и синь сквозит, высока, далека,  
сквозь медленный их полет;

Летят облака, летят облака,  
как в мелких осколках лед,  
и синь холодна, и синь далека,  
сквозит и холодом льнет;

И вот облака превращаются в лен,  
и лед истончается в лен,  
и лед и лен уже отдален,  
и снова синь небосклон!

1949

## ДВОЕ ИДУТ

Кружится, мчится Земшар —  
в зоне огня.  
Возле меня бег пар,  
возле меня,  
возле меня блеск глаз,  
губ зов,  
жизнь начинается свой сказ  
с азов.

Двое идут — шаг в шаг,  
дух в дух;  
трепет в сердцах, лепет в ушах  
их двух.  
Этот мальчонка был год назад  
безус;  
нынче глаза его жаром горят  
безумств.  
Эта девчурка играла вчера  
с мячом;  
нынче плечо ей равнять пора  
с плечом.

Первый снежок, первый дружок —  
двойник.  
Как он взглянул — будто ожог  
проник!  
Снег, а вокруг них — соловьи,  
перепела;  
пальцы его в пальцы свои  
переплела.

Стелют не сумерки, а васильки  
им путь,  
и не снежинки, а мотыльки —  
на грудь.

«Не зазнобила бы без привычки  
ты рук!»  
Их, согревая без рукавички,  
сжал друг.  
«Ну и тихоня, ну и чудила,  
тем — люб!  
Как бы с тобою не застудила  
я губ!»

Кружится, вьется Земшар,  
все изменя.  
Возле меня щек жар,  
возле меня,  
возле меня блеск глаз,  
губ зов,  
жизнь повторяет давний рассказ  
с азов!

*1950*

## СНЕГИРИ

Тихо-тихо сидят снегири на снегу  
меж стеблей прошлогодней крапивы;  
я тебе до конца описать не смогу,  
как они и бедны и красивы!

Тихо-тихо клюют на крапиве зерно,—  
без кормежки прожить не шутки! —  
пусть крапивы зерно, хоть не сытно оно,  
да хоть что-нибудь будет в желудке.

Тихо-тихо сидят на снегу снегири —  
на головках бобровые шапочки;  
у самца на груди отражение зари,  
скромно-серые перья на самочке.

Поскакали вприпрыжку один за другой  
по своей подкрапивенской улице;  
небо взмыло над ними высокой дугой,  
снег последний поземкою курится.

И такая вокруг снегирей тишина,  
так они никого не пугаются,  
и так явен их поиск скупого зерна,  
что понятно: весна надвигается!

1953

## ЧЕРНОБРИВЦЫ

Ведь есть же такие счастливыцы,  
что ранней осенней порой  
следят, как горят чернобривцы,  
склонившись над грядкой сырой!

Их жарким дыханьем согрето  
и пахнет, как в пробке вино,  
осеннее позднее лето,  
дождями на нет сведено.

Давай же копать и рыться  
в подмерзнувших комьях земли,  
чтоб в будущий год чернобривцы,  
как жар, в холода расцвели!

1954

ИВА

У меня на седьмом этаже, на балконе, — зеленая ива.  
Если ветер, то тень от ветвей ее ходит стеной;  
это очень тревожно и очень вольнолюбиво —  
беспокойство природы, живущее рядом со мной!

Ветер гнет ее ветви и клонит их книзу ретиво,  
словно хочет вернуть ее к жизни обычной, земной;  
но — со мной моя ива, зеленая гибкая ива,  
в леденящую сгущу и в неутоляемый зной...

Критик мимо пройдет, ухмыльнувшись презрительно-криво:  
«Эко диво! Все ивы везде зеленеют весной!»  
Да, но не на седьмом же! И это действительно — диво,  
что, расставшись с лесами, она поселилась со мной!

1951

ЕЩЕ ЗА ДЕНЬГИ ЛЮДИ ДЕРЖАТСЯ

Еще за деньги  
люди держатся,  
как за кресты  
держались люди  
во времена  
глухого Керженца,



но вечно  
                    этого не будет.  
Еще за властью  
                    люди тянутся,  
не зная меры  
                    и цены ей,  
но долго  
                    это не останется —  
настанут  
                    времена иные.  
Еще гоняются  
                    за славою, —  
охотников до ней  
                    несметно, —  
стараясь  
                    хоть бы тенью слабою  
остаться на земле  
                    посмертно.  
Мне кажется,  
                    что власть и почести —  
вода соленая  
                    морская:  
чем дольше пить,  
                    тем больше хочется,  
а жажда  
                    все не отпускает.  
И личное твоё  
                    бессмертие  
не в том,  
                    что кто ты,  
                                    как ты,  
  где ты,  
а — всех земных племен  
                                    соцветие,  
созвездие  
                    людей планеты!

С тех пор,  
как шар земной наш кружится,  
сквозь вечность  
продолжая мчаться,  
великое  
людей содружество  
впервые  
стало намечаться.  
Чтоб все —  
и белые,  
и черные,  
и желтые  
земного братства —  
вошли в широкие,  
просторные  
края  
всеобщего богатства.

1956

## СОЛОВЕЙ

Вот опять  
соловей  
со своей  
стародавнюю песнею...  
Ей пора бы давно уж  
на пенсию!  
Да и сам соловей  
инвалид...  
Отчего ж —  
лишь осыплет руладами —  
волоса  
холодок шевелит

и становятся души  
крылатыми?!

Песне тысячи лет,  
а пова:  
будто только что  
полночью сложена;  
от нее  
и луна,  
и трава,  
и деревья  
стоят замороженно.

Песне тысячи лет,  
а жива:  
с нею вольно  
и радостно дышится;  
в ней  
почти человечесьа слова,  
отпечатавшись в воздухе,  
слышатся.

Те слова  
о бессмертье страстей,  
о блаженстве,  
предельном страданию;  
будто нет на земле новостей,  
кроме тех,  
что как мир стародавние.

Вот каков  
этот старый певец,  
заклинающий  
звездною клятвою...  
Песнь утихвет —

и страсти конец,  
и сердца  
разбиваются надвое!

1956

## ПАМЯТНИК

Нанесли мы венков — ни пройти, ни проехать;  
раскатили стихов долговзвучное эхо.

Удивлялись глазастости, гулкосте баса;  
называли певцом победившего класса...

А тому Новодевичий вид не по нраву:  
не ему посвящал он стихов своих славу.

Не по нраву ему за оградой жилище,  
и прошла его тень сквозь ограду кладбища.

Разве сердце, гремевшее быстро и бурно,  
успокоила б эта безмолвная урна?

Разве плечи такого тугого размаха  
уместились бы в этом вместилище праха?

И тогда он своими большими руками  
сам на площади этой стал наращивать камень!

Камень вздыбился, вырос огромной скалою  
и прорезался прочной лицевой скулою.

Две ноги — две колонны могучего горса;  
головой непреклонной в стратосферу уперся.

И пошел он, шагая по белому свету,  
проводить на земле революцию эту:

Чтобы всюду — на месте помоек и свалок —  
разнеслось бы дыхание пармских фиалок;

Где жестянки и щебень, тряпье и отбросы,  
распылалось бы влажно индийские розы;

Чтоб настала пора человеческой сказки,  
чтобы всем бы хватало одеяла и ласки;

Чтобы каждый был доброй судьбою отмечен,  
чтобы мир этот дьявольский стал человечен!

*1956*

\* \* \*

Стихи мои из мяты и полыни,  
полны степной прохлады и теплыни.  
Полынь горька, а мята горе лечит;  
игра в тепло и холод — в чет и нечет.

Не человек игру ту выбирает —  
вселенная сама в нее играет.  
Мои стихи — они того же рода,  
как времена круговращения года.

*1956*

Что такое счастье? Соучастье  
в добрых человеческих делах,  
в жарком вздохе разделенной страсти,  
в жарком хлебе, собранном в полях.

Да, но разве только в этом счастье?  
А для нас, детей своей поры,  
овладевших над природой властью,  
разве не в полетах сквозь миры?!

Безо всякой платы и доплаты,  
солнц толпа, взвивайся и свети,  
открывайтесь, звездные палаты,  
простирайтесь, млечные пути!

Отменяя летоисчисленье,  
чтобы счастье с горем не смешать,  
преодолевая смерть и тленье,  
станем вечной свежестью дышать.

Воротясь обратно из зазвездья  
и в слезах целуя землю-мать,  
мы начнем последние известья  
из глубин вселенной принимать.

Вот такое счастье по плечу нам —  
мыслью осветить пространства те,  
чтобы мир предстал живым и юным,  
а не страшным мраком в пустоте.

1957

## ОСТАВАТЬСЯ САМИМ СОБОЙ

Был ведь свод небес голубой?  
Бил ведь в скалы морской прибой?..  
Будь доволен своей судьбой —  
оставайся самим собой.

Помнишь, вился дым над трубой?  
Воркотню голубей над избой?  
Подоконник с витой резьбой?..  
Будь доволен своей судьбой.

Лес был весь от солнца рябой,  
шли ребята веселой гурьбой —  
лезть на сучья, на птичий разбой,  
пересвистываясь меж собой.

Ведал вкус не дурой-губой,  
не дул в ус перед дурой-судьбой,  
не сходил с дружкой любой —  
оставался самим собой.

Мята, кашка и зверобой  
пахли сладко перед косьбой,  
гром гремел нестрашной пальбой,  
словно сказочный Громобой.

Не хвались удач похвальбой,  
не кичись по жизни гульбой,  
не тревожь никого мольбой —  
оставайся самим собой.

Если сердце бьет вперебой,  
если боль вздымает дыбой, —  
не меняйся ни с кем судьбой —  
оставайся самим собой!

1958

## ПЕСНЬ О ГАРСИА ЛОРКЕ

Почему ж ты, Испания,  
в небо смотрела,  
когда Гарсиа Лорку  
увели для расстрела?  
Андалузия знала  
и Валенсия знала,—  
что ж земля  
под погами убийц не стонала?!  
Что ж вы руки скрестили  
и губы вы сжали,  
когда песню родную  
на смерть провожали?!  
Увели не к стене его,  
не на площадь,—  
увели, обманув,  
к апельсиновой роще.  
Шел он гордо,  
срывая в пути апельсины  
и бросая с размаху  
в пруды и трясины;  
те плоды  
под луною  
в воде золотели  
и на дно не спускались,  
и тонуть не хотели.  
Будто с неба срывал  
и кидал он планеты,—  
так всегда перед смертью  
поступают поэты.  
Но пруды высыхали,  
и плоды увядали,  
и следы от походки его  
пропадали.



А жандармы сидели,  
                                лимонад попивая  
и слова его песен  
                                про себя напевая.

1956—1958

## ЗВЕЗДНЫЕ СТИХИ

Послушайте!  
Ведь, если звезды зажигают —  
значит — это кому-нибудь нужно?  
М а я к о в с к и й. «Послушайте!»

## ЗАЯВКА

В преддверье межпланетных путешествий,  
когда ракеты рвутся напролом,  
не стыдно ль нам, как курам на нашесте,  
сидеть, прикрывши голову крылом?

Земного притяжения уздою  
прикручены к полям, к лесам, к горам,  
таинственную встречу со звездой  
мы представляем только по стихам.

## НЕБО

Над вечности высотой,  
рассыпанная по безднам,  
звезда говорит со звездой  
на языке небесном.

В течение бессонных часов,  
в великом безмолвии мира,

мне слышится хор голосов:  
то — Вега, то — Цева, то — Лира.

К бесчисленным миллионам  
прислушаться я усиливаюсь:  
о чем говорит с Орфоном  
вовсю рассверкавшийся Сириус?

И Млечный рассеянный Путь,  
подобием барсовых пятен  
пестрящий небесную грудь,  
мне явен и ясно понятен...

Но если беседуют звезды со мною,  
то, значит, я что-нибудь стою  
с моей небольшою земною  
мерцающей звездой!

#### НАБЛЮДЕНИЕ

На утреннем свете,  
когда только чуть рассветало,  
как рыба, попавшая в сети,  
звезда трепетала.

Небесное тело,  
одна в беспредельности неба,  
она не хотела  
померкнуть бесследно и слепо.

И мы порешили, что сами,  
взлетев над воздушным порогом,  
ее небесами  
помчим по безвестным дорогам.

## ПОЛЕТ

Нас мчало, и мчало, и мчало  
со скоростью неизменной —  
к началу начала,  
в дыхание плывущей вселенной.

Мы плыли, и плыли, и плыли,  
ракетою несомы,  
в пределах космической пыли,  
собой невесомы.

И вдруг показали приборы,  
звонки зазвенели,  
что скоро, что скоро  
мы будем у цели.

Тогда мы пошли на спиженье,  
как будто свалившись с вершины,  
замедлив движение  
могучей разумной машины...

Затем мы сошли на планету,  
не нашу, иную,  
совсем не такую, не эту,  
ничуть не земную.

Сошли не на грунт, не на почву,  
не в воздух, не в воду:  
на неосязаемое точно  
и нам непривычное сроду.

Земным именам не коснуться  
таких неземных впечатлений;  
казалось бы, можешь проснуться,  
но материализуются тени:

То горы... Но это не горы!  
И тучи... Но нет же, не тучи!  
То люди вль метеоры  
медлительно движутся с кручи?!

Шестое? Девятое чувство?  
Двадцатое? Не запомнишь!  
Подай же нам руку, Искусство,  
приди нам скорее на помощь.

И очень пришлось бы нам туго,  
замглила б нас навеки млечность,  
когда б мы не встретили друга,  
ушедшего ранее в вечность.

#### ВСТРЕЧА

В несуществующее время,  
в отсутствующее пространство  
летим, вдвоем с тобой дружа,  
объединясь в заветной теме,  
все пламенней и беспристрастней, —  
вселенской цели сторожа.

Без воздуха, воды и тверди  
летим в безмерии бессмертья,  
из жизни вынеся урок, —  
летим лиловою вселенной,  
следуя за смелой постепенной  
паденья молнийного строк.

Нет, мы не призраки, не тени —  
напоминанье об Эйнштейне,  
неповторимости лучи, —  
мы дети дерзостной науки,  
переведенное на звуки  
сиянье мировой свечи.

Мы в существе неразделимы...  
Года напрасно мчатся мимо,  
пускай нас гадается разлучить,  
чтоб не был ты самым собою,  
чтоб стал ты с тенью схож любою,  
чтобы тебя не отличить.

Пускай биографы, судача,  
хотят, чтоб выглядел иначе,  
все измеренья изменяя;  
тех, с кем душа твоя дружила,  
не может никакая сила  
переменить, искореня!..

*1958—1959*

## К ДРУГУ-СТИХОТВОРЦУ

Я обращаюсь к стихотворцу-другу,  
к его таланта пламенному плугу,  
которым он, взрывая сушь суждений,  
готовил почву для живых рождений —  
для выдумки, для сказки, для фантазий,  
для слова, за каким в карман не лазай!

Вы самый удивительный рассказчик:  
мы помним все ваш «Музыкальный ящик»,  
в котором вы восстановили время,  
осуществив былое в близкой теме.

Зачем же вам, который время сблизил,  
предпочитать живому ветру дизель?  
Живые чувства — паруса людские —  
переводить на штампы заводские?  
Передо мной вопрос перазрешимый:  
зачем вам сердце заменять машиной?

Я сам писал про соловья стального,  
пока не услышал в ночи живого,  
который пел с таким великим чувством,  
что никаким не воссоздать искусством!

Я верю, и при взлете индустрии  
нужны нам чувства, жаркие, живые.  
Мы памятуем о машинном чуде,  
но все ж у нас на первом плане люди.  
Кто ж спутает с машинным звук сердечный,  
рискует в пафос впасть бесчеловечный!

1959

## СЕМИДЕСЯТОЕ ЛЕТО

Я проснулся сегодня радостный,  
огляделся счастливым взглядом:  
радость бьется в душе — нету сладу с ней,—  
ведь она со мной здесь, рядом!

Добролюбая, светлоплечая,  
затененная дымкою сна —  
и сказать о ней больше нечего:  
нестареющая весна!

Небо дымится грозами,  
в жаркий июль одето;  
пахнет сосной и розами  
семидесятое лето.

Вы, кому только двадцатое,  
кто лишь вступает в стремя,  
я не завидую и не досаую:  
всякому свое время.

Время мое величавое,  
время мое молодое,  
павшее светом и славой  
в обе мои ладони.

Вам, кому времени вашего —  
новые долгие годы,  
вам расцветать, выколашивать  
наших посевов всходы.

*1959*

## РЕШЕНИЕ

Я твердо знаю: умереть не страшно!  
Ну что ж — упал, замолк и охладел.  
Была бы только жизнь твоя украшена  
сиянием каких-то добрых дел.

Лишь доживи до этого спокойства  
и стань доволен долей небольшой —  
чтобы и ум, и плоть твоя, и кости  
пришли навек в согласие с душой;

Чтобы тебя не вялость, не усталость  
к последнему порогу привели  
и чтобы после от тебя осталась  
не только горсть ископанной земли.

И это непреложное решение,  
что с каждым часом глубже и ясней,  
я оставляю людям в утешенье.  
Хорошим людям! Лучшим людям дней!

*1960*

## ЗЕРНО СЛОВ

От скольких людей я завишу:  
от тех, кто посеял зерно,  
от тех, кто чинил мою крышу,  
кто вставил мне стекла в окно;

Кто сшил и скроил мне одежду,  
кто прочно стачал сапоги,  
кто в сердце вселил мне надежду,  
что нас не осият враги;

Кто ввел ко мне в комнату провод,  
снабдил меня свежей водой,  
кто молвил мне доброе слово,  
когда еще был молодой.

О, как я от множества зависим  
призывов, сигналов, звонков,  
доставки газеты и писем,  
рабочих у сотен станков;

От слесаря, от монтера,  
их силы, их речи родной,  
от лучшего в мире мотора,  
что движется в клетке грудной.

А что я собой представляю?  
Не сею, не жву, не пашу —  
по улицам праздно гуляю  
да разве стихи напишу...

Но доброе зреет зерно в них  
тяжелою красотой —  
не чертополох, не терновник,  
не дикий осот густой.



Нагреется калорифер,  
осветится кабинет,  
и жаром наполнятся рифмы,  
и звуком стаповится свет.

А ты средь обычного шума  
большой суеты мировой  
к стихам присмотришься и подумай,  
реши: «Это стоит того!»

*1960*

## ПОСЕЩЕНИЕ

Талантливые, добрые ребята  
пришли ко мне по дружеским делам;  
три — не родных, но задушевных брата,  
деливших хлеб и радость пополам.

Обручены единою судьбою,  
они считали общим свой успех,  
но каждый быть хотел самым собою,  
чтоб заслужить признание для всех!

Они расселись в креслах, словно дети,  
игравшие во взрослую игру;  
им было самым важным — стать на свете  
собратьями великих по перу.

Дыханье, дух, душа — одно ли это?  
И что же их роднит в конце концов?  
Передо мной сидели три поэта,  
желающих продолжить путь отцов.

Вот — Грибоедов, Тютчев, вот — Державин.  
А мне? Нельзя ли Баратынским стать?..

Был этот час торжественен и славен,  
оправленный в достоинство и стать...

И я, традиций убежденный неслух,  
поверил, что от этих — будет толк.  
Три ангела в моих сидели креслах,  
оставивши в прихожей крыльев шелк.

*1960*

## МЕД И ЯД

Июль задышал и зацвел  
расплавленным липовым цветом,  
и каждой из тысячеч пчел  
достойно назваться поэтом.

Ведь так они дружно поют  
и так неуставна их муза,  
что полнится ульев уют  
запасами сладкого груза.

А те, кто нарушит их труд  
и песню медового лада,  
почувствуют огненный зуд  
и разницу — меда и яда.

*1960*

## ПРОСТЫЕ СТРОКИ

### 1

Среди зеленой тишины  
нахлынувшего лета

не все вопросы решены,  
не все даны ответы...

Но ясен мне один ответ,  
без всяческой подсказки,  
что лучше в целом мире нет  
той, кто пришла из сказки;

Чь неподкупные глаза  
в лицо беды смотрели,  
то голубя, как гроза,  
то холодней метели.

Мне скажут: вот, опять про то ж!  
Знакомая затея,  
что лучше той п не найдешь,  
кто зорьки золотее!

О, вы, привыкшие к словам —  
казенным заявлениям,  
все это сказано не вам,  
а младшим поколениям!

## 2

Я не могу без тебя жить!  
Мне и в дожди без тебя — сушь,  
мне и в жары без тебя — стыть,  
мне без тебя и Москва — глушь.

Мне без тебя каждый час — с год,  
если бы время мельчить, дробя;  
мне даже сипый небесный свод  
кажется каменным без тебя.

Я ничего не хочу знать —  
слабость друзей, силу врагов;

я ничего не хочу ждать,  
кроме твоих драгоценных шагов.

3

Что же — привык я к тебе, что ль?  
Но ведь, привыкнув, не замечают.  
Все превращает любовь в боль,  
если глаза равнодушно встречают.

А на тебя я — и рассержусь,  
не соглашаешься — разругаюсь,  
только сейчас же на сердце грусть,  
точно на собственное не полагаюсь;

Точно мне пужно второе, твое,  
если мое заколотится шибко;  
точно одно у них вместе жилье,  
вместе и горечь, и вздох, и улыбка.

Нет, я к тебе не привык, не привык,  
вижу и знаю, а — не привыкаю.  
Может, действительно ты — мой двойник,  
может, его я в стихи облакаю!

1960

## СТИХИ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

---

### ИЮНЬ

Что выделявают птицы!  
Сотни радостных рулад,  
эхо по лесу катится,  
ели ухом шевелят...

Так и этак, так и этак  
голос пробует певец:  
«Цици-вити», — между веток.  
«Тьори-фьори», — под конец.

Я и сам в зеленой клетке,  
не роскошен мой уют,  
но зато мне сосны ветки  
словно руки подают.

В небе — гром наперекат!..  
С небом, видимо, не шутки:  
реактивные свистят,  
крыльями кося, как утки.

1953

### ДОМ

Я дом построил из стихов!..  
В нем окна чистого стекла,—

там ходят тени облаков,  
что буря в небе размела.

Я сам строку свою строгал,  
углы созвучьями крепил,  
венец к венцу строфу слагал  
до самых вздыбленных стропил.

И вот под кровлею простой  
ко мне сошлись мои друзья,  
чья голоса — не звук пустой,  
кого — не полюбить нельзя:

Творцы родных, любимых книг,  
что мне окно открыли в мир;  
друзья, чья верность — не на миг,  
сошлись на новоселья пир.

Летите в окна, облака,  
входите, сосны, в полный рост,  
разлейся, времени река, —  
мой дом открыт сиянью звезд!

1955

## РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА

Люди! Бедные, бедные люди!  
Как вам скучно жить без стихов,  
без иллюзий и без прелюдий,  
в мире счетных машин и станков!

Без зеленой травы колыханья,  
без сверканья тысяч цветов,  
без блаженного благоуханья  
их открытых младенческих ртов!

О, раскройте глаза свои шире,  
нараспашку вниманье и слух,—  
это ж самое дивное в мире,  
чем вас жизнь одаряет вокруг!

Это — первая ласка рассвета  
на росой убеленной траве,—  
вечный спор Ромео с Джульеттой  
о жаворонке и соловье.

1955

## ПЯТЬ СЕСТЕР

О музах сохраняются преданья,  
но музыка, и живопись, и стих —  
все эти наши радости недавние —  
происходили явно не от них.

Мне пять сестер знакомы были издавна:  
ни с чьим ни взгляд, ни вкус не схожи в них;  
их жизнь передо мною перелистана,  
как гордости и верности дневник.

Они прошли, безвкусью не покорствуя,  
босыми меж провалов и меж ям,  
не упрекая жизнь за корку черствую,  
верны своим погибнувшим друзьям.

Я знал их с детства сильными и свежими:  
глаза сияли, губы звали смех;  
года прошли — они остались прежними,  
прекрасно непохожими на всех.

Я каждый день, проспавшись, долго думаю  
при утреннем рассыпчатом огне,  
как должен я любить тебя, звезду мою,  
упавшую в объятия ко мне!

1956

## БЕССОННЫЕ СТИХИ

Мне не бабушкино  
знахарство,  
не рецепты  
мудрых врачей, —  
стих —  
единственное  
лекарство  
от бессонных  
долгих ночей.  
Нет в природе  
помощи лучшей,  
поднимающей чувства  
ввысь,  
как крылатостью  
двух созвучий  
выводить на орбиту  
мысль.  
На четыре  
стороны света  
открывается  
горизонт,  
и душа  
стихом обогрета,  
и —  
бессонница не грызет!



Это средство  
                                 вам не пгрушки,  
 сонным людям                        оно не впрок;  
 это все испытали:  
                                 Пушкин,  
 Баратынский,  
                                 Лермонтов,  
   Блок...  
 Маяковский?..  
                                 Должно быть, редко.  
 Надо вот что  
                                 иметь в виду, —  
 на вопрос он сказал бы:  
                                 «Детка,  
 я  
     работаю  
                         на ходу!»  
 И,  
     услышанный всем народом,  
 в громогласье  
                         своих стихов, —  
 гулливеровским  
                         пешеходом  
 он ушел бы  
                         за грань веков!  
 1962

## ЖИВОЙ

Как по Питерской,  
 по Тверской-Ямской...  
                         Старпная песня

Как по улице  
                         по московской,





Неутомимый, яростный, летящий,  
валя и разметая бурелом,  
он пред стеной глухой дремучей чащи  
сникает перетруженным крылом.

И, не смирившись с тишиной постылой,  
но и не смогши бушевать при ней,  
ослабевают ветер от усилий,  
упавши у разросшихся корней.

Но никакому не вместить участью  
того, что в дар судьба ему дала:  
его великолепное несчастье,  
его незавершенные дела.

*1960-е годы*

## О ЛИРИКЕ АСЕЕВА

В марте 1947 года на первом Всесоюзном совещании молодых писателей в день «свободных консультаций» с утра у кабинета с табличкой «Н. Н. Асеев» — очередь... К концу дня Николай Николаевич распахнул дверь, окинул взором оставшихся, жестом пригласил войти. Помнится, среди нас был Николай Старшинов. Он стал читать Асееву свою первую поэму «Гвардии рядовой», Асеев вслушивался, вставлял замечания. После пригласил всех пройти по весне: «Пойдемте, там и договорим!»

Идем мимо Политехнического. С крыш — капель, Асеев говорит о стихах. «Вот тут, на Театральной, в такой же мартовский день — Маяковский. Над толпой, на голову выше. Большими шагами — ко мне: «А знаете, Колечка, страшное у меня горе, наверное, лишусь сна!» Я ему: «Что случилось, наверно, опять любовь?» Он, помолчав: «Вы понимаете, вскоре в Россию придет весна». Было еще до революции... Потом, много лет спустя, строки о «страшном горе» стали начальной строфой стихотворения Маяковского 1923 года «Весенний вопрос».

Мы стояли уже в проезде Художественного театра, у дома, на котором теперь мемориальная доска с изображением Асеева в профиль, почти во весь рост.

Тогда не была еще написана книга «Зачем и кому нужна поэзия?». О многом, о чем размышлял поэт в тот день, потом прочитывалось в этой книге. «Поэт, весь — необычайная чуткость, как человек с ободранной кожей, — говорил Асеев. — Событие еще не грянуло, ветер не пришел, а он первый уловил дуновение».

Обостренное чувство времени, новизны Асеев считал едва ли не самым главным в творческом характере поэта. Для выражения

новизны современности сам с первых лет стихотворчества искал новые слова и новые формы стиха.

Начинал Асеев с ученичества у символистов.

Чем и как увлекла его «школа» символизма, перекочевавшая с Запада в начале XX века в Россию? Безысходными мечтаниями одинокой интеллигентской души? Страхом перед жизнью, отчаянием перед неотвратимо падавшимися революционным переустройством жизни? Новизной формы, наконец?..

В 1909 году Асеев приехал в Москву из провинциального городка Льгова. Поступил вольнослушателем в университет. Скоро завел знакомства в литературных кругах, вошел в группу «Лирика». Стал печатать в журналах первые стихи.

Асеев был старше Маяковского. В тот год Маяковскому было шестнадцать. Асееву — все двадцать, но у бывшего гимназиста из Курской губернии не было опыта «товарища Константина», как звался Маяковский, пропагандист Московского комитета РСДРП (большевиков). После Бутырок, «последнего училища» Маяковского, они встретились на московском Тверском бульваре. «Я был удивлен, — вспоминал Асеев, — его вопросом не о том, как я пишу, а «про что» пишу... Про все самое важное... А что я считаю важным? Ну, природу, чувства, мир. Что же это — про птичек и зайчиков? Нет, не про зайчиков. А кого я люблю из поэтов? Я тогда увлекался Хлебниковым. Ну, вот и значит — про птичек. «Бросьте про птичек, пишите, как я!» Таково было требование. Я, как полагаюсь, усмотрел попытку ущемить мой творческий суверенитет. Но спора не вышло. И только очень позже понял я, что разговор шел не о рифмах и ритмах, а об отношении моем к действительности».

Год 1915-й. Разгар империалистической войны. Маяковский издает «Облако в штанах». В нем о времени: «в терновом венце революций грядет шестнадцатый год». И о себе: «Мир огромишь мощью голоса, иду — красивый, двадцатидвухлетний».

Асеев забран в солдаты. Но успели выйти две книги, в пятнадцатом третья — «Лётрей» (заглавие — неологизм, образованный от двух слов: «лёт» и «реянье»). В самых первых стихах какие-то строки навеяны символистскими «поэтизмами» («с кинжалом вы

шли и с розой»). В «Лёторее» — повеяло «вояпой» (то есть ветром с войны, — опять неологизм). Асеев готов уйти от «глупого тьяканья пушек», ищет выхода собственным чувствам, пытается утвердить свой «творческий суверенитет».

*О, Время! Я рад, что я достиг  
держать тебе ныне стремя.*

(«Грапица», октябрь 1914)

Куда поскачет асеевский поэтический конь Времени? Навстречу каким ветрам?

*Умыйница ликовеселья,  
на дикие радость-сердца  
зачем наступила газелья,  
как воды смутила зеркаль?*

(«Михаил Лермонтов», 1915)

«Умыйница!» Вспомним у Хлебникова: «Замужница с замужницей... Причудница с причудницей...» Асеев уже сблизился с Велимиром Хлебниковым, поставил вместе с ним свою подпись под манифестом «Труба марсиан», протрубившим: «Мы прекрасны в неуклонной измене своему прошлому...» Какому прошлому соби-рался изменить Асеев, он и сам, наверное, не осознавал.

Сергей Бобров, поэт, организатор «Лирики», ставшей потом полуфутуристической «Центрифугой», в предисловии к первой книге Асеева «Ночная флейта» отмечал и символистское — «внутреннее изучение схем лирических движений», — и возвращение «к пушкиннианцам и больше всего к несравненным россыпям алмазов всеми забытого Николая Михайловича Языкова». Да, молодой Асеев не рвался «бросить Пушкина» и других классиков «с парохода современности», к чему зывала футуристическая «Пощечина общественному вкусу» (1912), хотя поначалу и привлекала его больше всего в прошлом русской поэзии формальная сторона — как писать? С Хлебниковым Асеева сближала его установка на слово «лёгкое», «чистое», отличное от «бытового», утратившего свой многозначно-поэтический смысл. Вадим Шершеневич, взявшийся проповедовать «основы» русского футуризма (потом пере-

бежавший к имажинистам), заклинал: «Разговорное слово так относится к поэтическому, как дохлая ворона к аэро. В искусстве нет ни смысла, ни содержания и не должно быть... Литература — это сочетания самовитых слов».

Все декадентские течения (символизм, «сменщик» его — акмеизм, футуризм и прочие), как явления упадка и разложения буржуазного искусства, не слишком рознились в потаенном своем существе — отрешенности от социальной действительности. Акмеизм силился подправить жизнеспособность декадентства «возвратом» к материальности мира, к «вещи» как таковой. Но поэтизация вещи у акмеистов противопоставлялась социальному, реальность общественных связей объявлялась «мистической». Футуристы с претензией на гегемонию в искусстве будущего довели культ «вещи» и культ «слова», как такового, до абсурда. «Будем лопать пустоту, пустоту и паготу, все, что встретим на пути, может в пищу нам идти», — зывал «отец» русского футуризма Бурлюк. «Живописцы-будетляне (слово «будетлянин» изобрел Хлебников. — В. М.) любят показываться частями тел, разрезами, а будетляне-речетворцы разрубленными словами и их причудливыми хитрыми сочетаниями». Первый бросивший «закваску» слова «самовитого» в пестрое течение русского футуризма, Хлебников отличался от своих литературных спутников рыцарским «мученичеством за поэтическую идею» (Маяковский). Он бросал вызов собственникам-приобретателям, мечтая о некоей прекрасной стране, «где говорят деревья... где время цветет, как черемуха...». Ему так хотелось стать «звонким вестником добра»... Глубоким, подвижническим был интерес Хлебникова к далекому прошлому своей страны, к первоначальной языческой культуре Древней Руси. В противовес бездушной, «вещной» цивилизации буржуазного общества Хлебников идеализировал языческое прошлое родины, и это опять-таки вопреки ориентации русских декадентов, — символистов, акмеистов, футуристов, — на упадническую, антигуманистическую и антидемократическую культуру Запада.

Под непосредственным влиянием Хлебникова Асеев создает цикл так называемых «Сарматских песен». В них он следует заветам, выдвинутым Хлебниковым: «Россия в прошлом... Воспеть



растения. Заглядывать в словари славян, черногорцев и др. — соби-  
рание русского языка еще не окончено — и выбрать многие пре-  
красные слова, именно те, которые прекрасны. Одна из тайн твор-  
чества — видеть перед собой тот народ, для которого пишешь,  
и находить словам место на осях жизни этого народа, крайние  
точек ширины и вышины». Короткие лирические «баллады» рит-  
мико-интонационным строем в отдельных случаях в чем-то напо-  
минают старинные заклинания, взывающие к языческому божест-  
ву («Перуне, Перуне, Перуне могучий, пусти паши стрелы за чер-  
ные тучи»). В других — воскрешают героев древних славянских  
летописей:

*Это вновь на пирушке Попель  
у дому, у домова Пяста,  
на века загуляя и пропил  
дорогие княжие яства.  
Восставай, Земовит, из нови  
на свои веселые ноги,  
оброни с величанной брови,  
что тебе обещали боги.*

(«Над Гоплой», 1914)

Эти стихи в разгар кровавой «пирушки» империалистической  
войны сближали Асеева с теми, кто, по выражению Маяковского,  
«от первых дней войнышу эту прокляля».

Важно отметить, что интерес к древней славянской истории  
и культуре в начале XX века вылился в целое движение, представ-  
ленное широким кругом имен: поэтических — Блок, Городецкий,  
Есенин; в живописи, скульптуре, музыке — Рерих, Билибин, Конен-  
ков, Стравинский, Прокофьев. Впоследствии в очерке «Моя жизнь»  
(1959) Асеев напишет: «Что это было? Обращение ли к древнему  
идолу истории? Отчаяние ли молодости, не находящей меры и ве-  
са собственным чувствам? По-моему, — как это я теперь пони-  
маю, — было прощание с Перуном языческого обоготворения исто-  
рии, места своего рождения, прощание со своим детством». К «дет-  
ству» и «месту своего рождения» Асеев еще вернется в пору воз-

мужания, решающего становления лирического таланта. Но этому будут предшествовать поворотные годы в его жизненной и поэтической судьбе.

Поворотным историческим событием, определившим весь дальнейший путь поэта, стала Октябрьская революция. Когда она совершилась, Асеев был заброшен солдатским эшелоном во Владивосток, в эту «крайнюю точку ширины» огромного пространства России.

«В городе, кроме жены,— вспоминал Асеев в очерке «Октябрь на Дальнем» (1927),— у меня была лишь одна знакомая...

Эта единственная знакомая здесь — была Революция».

Революционная ломка старого мира виделась Асееву в образе стихийного крестьянского восстания. Угадывалась, «узнавалась» лично, через собственную свою судьбу. В 1916 году он написал цикл стихотворений «Предчувствия», где провозглашал:

*Дерева — спящий в клетке зверь,  
во тьме дрожит, и снится кнут ей,  
но вспыхнет выстрел, хлопнет дверь,  
и — дрогнут сломанные прутья...*

. . . . .

*И я по лицам узнаю  
и по рубашкам кумачовым —  
судьбу грядущую свою,  
протоптанную Пугачевым.*

Асеев захвачен революционной темой. Революционная тема — главная, сквозная в книге «Бомба» (1921), изданной во Владивостоке. В нее вошли «Предчувствия» и новые стихи, написанные здесь, где ему открылся новый мир, люди революции — рабочие угольных копей, матросы и грузчики порта, первые руководители Владивостокского Совета: Константин Суханов, первый председатель Совета, а особенно — Сергей Лазо, двадцатилетний красный командир, «чрезвычайно красивый, рослый, осанистый».

Работа Асеева во Владивостоке (в редакция газеты), затем в Чите — столице Дальневосточной республики (группа «Творчест-

во») — не свободна от многих прежних литературных влияний и связей. Они ощутимы и в «Предчувствиях» и некоторых других стихах, составивших сборник «Бомба». Тем не менее такие стихи сборника, как «Первомайский гимн», «Кумач», а также цикл стихотворений «Тайга» обозначили решающий поворот поэта к новой действительности и явились прологом к творчеству 20-х годов.

«Двадцатые годы,— как пишет А. И. Михайлов в статье «Поэтический путь Николая Асеева» к сборнику стихотворений Библиотеки поэта (Малая серия), 1981,— расцвет и, может быть, даже вершина асеевской поэзии».

С 1922 года Асеев — в Москве. В издательстве «ВХУТЕМАС» выходит небольшая книга стихов под грифом МАФ — Московская (в будущем международная) ассоциация футуристов — под названием «Стальной соловей». В 1923-м — книга «Совет ветров». Примечателен отклик А. В. Луначарского на эти сборники. «Я с величайшим восхищением прочел Ваш сборник «Совет ветров». Пусть сердятся на меня «маяковцы» и Маяковский, а, если угодно, то и другие поэты, которых я сейчас хочу принести Вам в жертву, но я определенно заявляю: за последние пять лет я ни одного подобного сборника не читал... Стихотворение «Стальной соловей» написано прекрасно, но на меня производит тягостное впечатление. В нем, правда, по существу говоря, Вы на чуткое ухо признаетесь в этой тягости. Вам кажется, что кто-то действительно велел Вам воспевать «махинище», что Вам захотелось надеть на себя «ярмо», что у Вас как-то и внутренне и внешне уж такая доля — стать стальным соловьем. Мидас все превращал в золото и от этого умер с голоду, а нынешний капитал, именно капитал, а не человечество, все превращает в сталь, и, в сущности говоря, ярко рассказав о том, как Вас распилили пополам, вонзили в Вас лом и привели к (Брикам и т. п.)... и начинаете, так сказать, ругать нас, бедных, которые все-таки считают ветку поэтичнее проволоки...»

Далее, заступившись за соловья живого, назвав Асеева «самым крупным» поэтом, «которого мы сейчас в России имеем», Луначарский отмечал: «Вас еще не ожелезили, так сказать, и в Вас бьется настоящее сердце. Но ради всего святого, не давайте себя втянуть ни в какую гостевщину, ни в какую бриковщину, ни даже в мая-

ковщину... Лучше же всего Вы там, где Вы в целом и до конца Асеев, например, в «Тайге» — стихотворение, которое я считаю образцовым, действительно потрясающим...

Этого я не могу сказать про Ваш сборник «Стальной соловей»...»

Суждения Луначарского касались очень спорных и очень важных вопросов развития молодого советского искусства в первые годы Советской власти. В искусстве тех лет шумную деятельность развернули многочисленные группировки. Среди них — Пролеткульт, организация, претендовавшая на государственную монополию в утверждении эстетических основ нового искусства, «Левый фронт искусств» — «Леф», организовавшийся из бывших футуристов, куда сразу же, как свой человек, вошел Асеев.

Одним из теоретиков Пролеткульта выступал поэт Гастев, полагавший, что так называемая «пролетарская культура» «не знает ничего интимного и лирического». Теоретик «Лефа» Брик силился распространить «производственную» эстетику на художественное творчество и тем самым упразднил «эмоцию», «романтизм», как наследие «проклятого» прошлого. По существу, лефовская и пролеткультовская теории смыкались на отрицании роли художника как выразителя духовного мира нового советского человека.

Как член группировки Асеев должен бы следовать ее требованиям, но как поэт он оказался вне подобных ограничений.

Чуткое ухо было у поэта от природы! На зов жизни он, как умел, отзывался в первых книгах. Первые годы революции обострили слух и видение реального.

Цикл «Тайга», написанный еще на Дальнем Востоке, вошел в книгу «Избрань» (1923). Позже этот цикл получил название «Стихи сегодняшнего дня», чем автор подчеркивал, несомненно, значимость стихов для собственного творчества тех лет.

В первых двух стихотворениях «Тайги» впечатляет драматизм смертельных схваток, отразивший сложную ситуацию борьбы за дело революции в Приморье в условиях иностранной интервенции, «междувластия», происков белогвардейщины. В двух других частях — острота схватки пронзает сердце поэта.

*Тебя расстреляли — меня расстреляли,  
мы вместе любили, мы вместе дышали,  
в одном наши щеки горели бреду.  
Уходишь? И я за тобою иду!*

Прямое обращение к герою партизанских сражений лирически утверждает внутреннюю, душевную слитность переживаний поэта с этим новым героем его поэзии:

*Тебя расстреляли — меня расстреляли,  
мы сердце о сердце, как время, свергли,  
и как же я встану с тобою, расстрелян,  
пред будущим звонким и свежим апрелем?!*

Герой Асеева как будто из партизанской «вольницы», но «таежная» ситуация — из реальных событий тех лет. «Локальный» ход поэтической мысли выражает самое сокровенное, самый значимый итог душевных исканий поэта:

*ведь у самых сердец партизанят  
наши песни и наши дела!*

Так завершаются поиски героя, этого важнейшего этапа в творческом развитии всякого поэта. Вспомним, например, что Н. Тихонов издает под названием «Поиски героя» (1927) целую книгу стихов, в которой поэтически отзывается на события гражданской войны.

Цикл «Тайга» в творческом движении Асеева, как мост, по которому он переходит в новую действительность, творимую героями новой жизни. В 1927 году Асеев напишет поэму «Семен Проскаков» — о дальневосточном партизане, основанную на документах, вдохновенно прославляющую бессмертие дел рядовых бойцов революции. Но прежде «Семена Проскакова» — книга «Совет ветров» (1923) — лирическая запись переживаний поэта на перекрестке литературных споров 20-х годов об истинных и мнимых духовных ценностях.

Асеев всегда был чуток к веяниям времени. Искренен в своих увлечениях. Заблуждаясь, он искренне проповедовал лозунги левов-



*Умираем?*

*Нет не умираем,—*

*порогом*

*идем в тебя,*

*земля!*

Заключительные строки — почти перифраз из «Тайги». «Уходишь? И я за тобою иду!» Только с какой одухотворенной по-новому силой мужественности сказалось в них чувство времени, нераздельное с «общей судьбой» героев страны.

Критик А. Селивановский в «Очерках по истории советской поэзии» отмечал «романтическую лирику революции» как ведущую линию творчества Асеева 20-х годов, уделив значительное внимание поэмам «Лирическое отступление» (1924) и «Свердловская буря» (1925), выделив среди стихов о революционном прошлом «Синих гусар» (1925).

Обе из названных поэм — лирические. Главный герой — поэт со своими болями, тревогами и думами о времени и о себе. Обе написаны по «личным мотивам об общем быте».

«Читатель, стой! Здесь часового будка. Здесь штык и крик. И лозунг. И пароль. А прежде — здесь сплела незабудка веселую мальчишеской порой». Тревожным, сторожевым окриком начинается первая из них. С нарастающей напряженностью, будто задыхаясь от волнения, поэт разворачивает страницы повести о «суровом», «страшном», «мертвом мире былого», который уродует живую душу, убивает любовь: «За эту вот площадь жилую, за этот унылый уют и мучат тебя, и целуют, и шагу ступить не дают?!» И, проклиная наследие проклятого прошлого, поэт готов достучаться, прорваться через все заставы, сквозь все «завывы лавок» к сердцу, схваченному в плен мещанским бытом. Он предъявляет бескомпромиссный нравственный счет и «золотушному» быту и себе самому:

*Как я стану твоим поэтом,*

*коммунизма племя,*

*если крашено —*

*рыжим цветом,*

*и не красным,—*

*время?!*

Этими строками Асеев вызвал на себя огонь многочисленной критики тех лет. «Лирическое отступление» то ставили в один ряд с «индивидуалистической больной» поэмой Маяковского «Про это» (1923), то противопоставляли Маяковского Асееву. Ортодоксальные лефовцы не поняли и не приняли ни той, ни другой. В их догматические рамки не укладывался ни исповеднический характер лирического стихотворения, ни психологизм правдивого обнажения «болевых» точек быта. Маяковский был вынужден защищать друга-соратника перед работниками так называемого «Левого фронта искусств», растолковывая, что «рыжее время» относится к «старому мещанскому быту».

Асеев был прав, испытывая тревогу перед всколыхнувшейся в годы напа стихией мещанства: враг опаснейший, умеющий «юлить и лизаться», живучий враг революционного переустройства жизни. Перед его «предательской» хваткой у поэта хватило сил не отступить:

*Отсюда вот —*

*с лирических позиций,*

*не изменив,*

*но изменяя в лице,—*

*мне выгодней тревожить и грозиться  
и обходить раскинутую цепь.*

Растерянность перед всколыхнувшейся в годы напа мещанской стихией, конечно, сказалась в поэме. Но в ней сильно было и негодование. И самое главное — в творческом движении Асеева «Лирическое отступление» открывало новые возможности художественного расширения границ в изображении индивидуальной жизни.

«Свердловская буря» (1925) закрепила надежность «лирических позиций» Асеева. В ней наповское мещанство распознано в другом — «курортном режиме»: «От трестовских спин и от спецовских жен всё море жиром замаслено». А встреча на Южном берегу



со свердловцем, слушателем Коммунистической академии им. Свердлова, укрепляет веру поэта в будущее, в победу революции. «И я увидал в расступившихся днях — в глазах его, грозных и сивых, — проросший сквозь нап строевой молодняк, не только — осенний осинник».

На «зов» двоих («И я — запеваля, а он — политрук») откликается море. И образ моря открыт «ветрами», «молниями», и лирическое повествование берет твердую, уверенную «походку» стиха. На смену задыхающемуся ритму «Лирического отступления», на смену нагроможденных проклятий-тирад приходят размеренные, мужественные строки, овеванные революционной романтикой.

*И вот —  
                                он свердловцем,  
  а я рифмачом.  
И моря —  
                                нежна позолота.  
Но мы не забудем  
                                его  
  нипочем —  
воронежского болота.*

Особое место в творческом самосознании Асеева занимает цикл «Курские края» (1930—1943). Вначале цикл состоял из пяти стихотворений. В годы Великой Отечественной войны закончены стихи, завершающие цикл, — «Город Курск». Героический подвиг советского народа, прогремевшая на весь мир Курская битва утверждали в сознании поэта то, что в 20-е годы было догадкой: справедливость стремления подкреплять свою устремленность в будущее — прошлым. Стихи курского цикла с самого начала своим содержанием, своим реалистическим строем противостояли лефовской платформе с ее неизжитым нигилистическим отношением к историческому прошлому.

Чутьем художника пробивался Асеев к решению проблемы русского национального характера. Задачу эту поставил М. Горький в начале 20-х годов — показать русский народ в эпоху величайшего в истории страны революционного перелома. В 1925 году

Есенин пишет «Анну Снегину», — поэма автобиографическая, о родном рязанском крае. Шолохов публикует свои первые рассказы, предваряющие национальную эпопею «Тихий Дон». Асеев создает автобиографический цикл о «срединном» российском крае.

«Курские края» ознаменовали победу реализма в творчестве Асеева. В них поэт сумел сказать слово о своем народе «со стороны его национально-исторического существования» (А. И. Михайлов). В курской глубинке поэт высвечивает первоначальные истоки своей жизненной силы и вдохновения.

*Стойте крепче. Вы мое оплечье,  
вы мои деды и кумовья,  
вы мое обличье человежье,  
курские края.*

В то же время поэт остался верен своей излюбленной поэтике романтического «освещения» действительности. Стихотворения «Дед», «Бабка» просвечены радостным, пламенящим кровь воспоминанием. Эти образы как будто выхвачены из глубины народной жизни.

*Бабка радостною была,  
бабка иволгою плыла  
по-над яблоневыми ветвями —  
мастерица на все дела!*

*Отгадела на синий лен,  
отшумела под белый клен.  
До сих пор в нее — над рекою —  
соловьиный напев влюблен.*

От «Курских краев» идет движение поэтики Асеева к реально нарисованному пейзажу:

*У жасмина  
запах свежей кожи,  
земляничкой  
млеет леса страсть.  
Чтоб и позже —  
осенью погожей —*

*Нам не разойтись,  
не запропасть.*

(«Летнее письмо», 1934)

В конце 30-х годов Асеев создает поэму о своем друге и соратнике «Маяковский начинается» (1936—1939).

В 1938 году Асеев издает книгу «Высокогорные стихи». Живописуя природу кавказских республик, Асеев воссоздает поэтический образ родной страны, величественный и красочный.

В годы войны выходит сборник стихов «Первый взвод» (1941), после войны — «Пламя победы» (1946).

Итогом всей поэтической работы поэта суждено было стать книге «Лад» (1961). Высоко оцененная критикой, эта книга как бы обозначила возвращение поэта на круги своя. В ней тема Москвы развернулась как тема России-родины в историческом проглядывании прошлого, в поэтическом видении связи времен. В стихах «Лада» — широкий охват явлений современной жизни. Стихи о Западе, «от жажды наживы хмелеющем», стихи публицистические, призывающие к разоружению, «Звездные стихи». Стихи «Лада» не требуют комментариев, настолько в них отстоялась реалистическая конкретность и ясность образов.

Чувство природы, одно из важнейших поэтических ощущений реального мира, в последних стихах Асеева завоевано, закреплено точно выбранными деталями:

*Тихо-тихо сидят снегири на снегу,  
меж стеблей прошлогодней крапивы,  
я тебе до конца описать не могу,  
как они и бедны и красивы!*

. . . . .  
*Тихо-тихо сидят на снегу снегири —  
на головках бровные шапочки,  
у самца на груди отражение вари,  
скромно-серые перья на самочке...*

Ну вот, вспомним первый разговор Асеева с Маяковским, — все-таки, значит, про птичек! Да, и про них. Но совсем на другом

уровне — реалистического познания современности. Не забудем, что и Маяковский в стихах последнего года жизни писал о том, как «рвут, загадав, и пускают по морю венчики встречных ромашек». А по сути, поэт разговаривал с «веками, историей и мирозданием»...

Асеев прожил счастливую поэтическую жизнь. Его современниками были Пастернак, Ахматова, Цветаева, Есенин и многие другие, оставившие свой неизгладимый след в истории советской поэзии.

Незабываемы встречи с Николаем Николаевичем в его доме на Художественном проезде. По обыкновению — громкие чтения, — а читал Асеев вдохновенно, увлеченно, — из классиков русской поэзии, целые страницы наизусть из летописей, из Кириши Данилова. Испытующе поглядывает, — хорошо ли знакомы образцы отечественной словесности. После — о «текущих делах».

Признанный мастер поэтического слова был озабочен идущим на смену молодым поколением. Спрашивал: «Как быть с Вознесенским?» Доброе напутствие дал первым стихам А. Передреева, поддержал своевременно Вл. Семакина, помог в творческом утверждении Вл. Лазареву, А. Говорову и многим другим.

Путь Асеева был долог, противоречив, порой отягощен «нидержками», но замечателен лучшими творениями, прочно вошедшими в историю советской поэзии, сохраняющими поэтическую силу слова и по сегодняшний день.

ВЛ. МИЛЬКОВ

## ПРИМЕЧАНИЯ

При жизни Н. Н. Асеева вышло около ста его книг — поэтических сборников, прозы, литературно-критических статей. Издавались собрания сочинений: Собрание стихотворений в трех томах. М.—Л., Госиздат, 1928—1930 (с томом IV, дополнительным); Собрание стихотворений, 2-е изд., испр. М.—Л., Госиздат, 1931. Вышло также более десяти изданий избранных произведений. Из посмертных изданий следует отметить «Собрание сочинений в пяти томах». М., Худож. лит., 1963—1964; для этого издания автор сам просмотрел тексты, наметил композиционное построение и основной состав. Выпуск Большой серии «Библиотеки поэта» — «Стихотворения и поэмы» (вступ. статья и составление А. Урбана; подготовка текста и примеч. А. Урбана и Р. Вальбе). Л., Сов. писатель, 1967 — первое обстоятельно прокомментированное издание, в котором даны ранние редакции и варианты, уточнена датировка и т. д. На основе этих двух изданий в последние годы был подготовлен ряд избранных поэтических изданий Н. Н. Асеева.

В настоящее издание включены произведения, дающие возможность проследить сложный и противоречивый творческий путь Н. Н. Асеева, — избранные стихотворения и поэмы. Поэма «Маяковский начинается» представлена отдельными главами. Произведения распределены по разделам в соответствии с книгами или циклами стихов, в которых они публиковались при жизни поэта. Каждому разделу дается и соответствующее книге или циклу название. Разделы расположены по хронологии выхода книг, публикаций поэм и циклов. Двум разделам: «Стихи разных лет» и «Стихи последних лет» название дано составителем.

Тексты печатаются по изданию: Стихотворения и поэмы. М., Сов. писатель. 1967. (Б-ка поэта. Большая серия).

В примечаниях к отдельным стихам указана первая публикация в периодических или повременных изданиях, если она состоялась до включения стихотворения в состав книги или цикла. В комментариях отчасти использованы материалы предшествующих исследователей творчества поэта.

**Старинное.** Впервые — Заветы, 1913, № 12. *Юлиан Анисимов* (1888—1940) — поэт, переводчик, художник, товарищ Асеева по кружку «Лирика».

**Москва.** *Константин Локс* (1896—1956) — литературовед, участник кружка «Лирика». ...*как грядет в ночь Иван...* — имеется в виду колокольня Ивана Великого в Кремле.

**Фантазмагория.** *Гончарова Наталья Сергеевна* (1881—1962) — художница модернистского направления, иллюстрировала издания русских футуристов. С 1915 г. жила в Париже.

**Звенчаль.** *Тулумбас* — старинный ударный музыкальный инструмент. *Доломан* — старинная верхняя одежда. *Истрь* — древнее название Дуная. *Харалужье* — броня, кольчуга, булат.

**Гремль.** В «Собрании стихотворений в трех томах» (1928—1930) печаталось в цикле «Сарматские песни» под заглавием «Кремль — 1914 год». Скифов и сарматов считали предками славян. С конца I в. до н. э. сарматы занимали южнорусскую степь до Дуная. Современная наука относит сарматов к правоязычному племени. Асеев интересовался древним славянством, изучал древнерусские летописи, увлекался образами и ритмами старинных песен и плясок, поиском корневых истоков поэтического слова. Поэт отмечал также, что для него «Сарматские песни» имели еще и актуальное для своего времени звучание: «Касались они судеб тогдашней Польши, ее самостоятельности, ее древней культуры». По поводу стихотворения «Гремль» Асеев писал в очерке «Моя жизнь»: «Почему «проплескавшего», почему «плашменпой» лапой? И, наконец, что это за «светлошапая весна»?.. А потому, что цокот копыт по булыжной мостовой в самом деле был похож на плеск весла по воде, а то, что копыто ложится плашмя, — широкое копыто рысака, это и подчеркивает его плеск о камень. А «светлошапая», по-моему,

уж совсем понятпо всякому. Ведь облака, белые как пуховая шапка, плывут весной так высоко; вот и светлошапая весна! Ощущение весны пад Кремлем и контраста от столпившихся у Иверской калек, нищих, уродов было настолько резко, что об этом нельзя было не написать». *Иверская* — часовня у проезда на Красную площадь в Москве. *Иван Великий* — колокольня в Кремле. *Сыта* — медовый напиток. *Острогонь* — от слова острог.

«Не спасти худым ковуям...» *Ковуи* — пасмное войско в Древней Руси, обычно набравшееся из кочевых племен.

**Объявление.** Асеев так комментпровал эти стихи в своей книге «Работа над стихом»: «Помню, как шел однажды по улице и в глаза мне бросилась вывеска пад сенной лавкой: «Продажа овса и сена». Близость звучания ее и похожесть па надоевший церковный воэглас: «Во имя отца и сына» — создало в воображении пародийную строку из этих двух близко звучащих обиходных словесных групп...

Помню еще, что наравне со стремлением к самостоятельности, неиспользованности наблюдения тогда же уже тянуло и к новизне звуковой — к необычности рифмовки, к заостренности звучания стиха».

**Повей война.** *Вояна* — ветер с войны. *Пьяное столетье* — имеется в виду русско-японская война 1904—1905 гг. *Голубой мундир* — жандармская форма. *Но то — рассерженный грузин* — черносотенный генерал Думбадзе, устраивавший жестокие расправы после революции 1905—1907 гг. *Но то — в пределы моряка* и далее — имеется в виду революционное движение на флоте. *А уж труба второй войны* — говорится о начале мировой войны 1914—1918 гг.

«За отряд улетевших уток...» Впервые — сб. «Пета». М., 1916. По поводу этого стихотворения автор писал в статье «Зачем и кому нужна поэзия?..»: «В молодости мной написано было стихотворение, буквальный смысл которого я сам, признаться, понимал плохо, но оно мне казалось правдивым... И лишь позже, старым человеком, я понял, что эти стихи были об отлетающем времени, ощущение которого реализовалось через стаи птиц, летящих к югу. Это были предвестники осени, предвестники старости, ощущавшейся вместе с осенью».

**Кремлевская стена.** *Тобой очам не надивиться* и т. д. — имеется в виду старинный герб Москвы с изображением на червленом геральдическом щите Георгия Победоносца, считавшегося покровителем воинов. Изображение всадника на коне, поражающего дракона, утвердилось в гербе, когда явственно определилась победа Москвы над Золотой Ордой. *Крестовые братья* — побратимы, помевявшиеся крестами.

**«Ой, в пляс, в пляс, в пляс!»** Впервые — Проталинка, 1914, № 11. В «Собрании стихотворений в трех томах» (1928—1930) печаталось в цикле «Сарматские песни» (см. примеч. к стихотворению «Гремль»).

**«Перуне, Перуне...»** Впервые — Проталинка, 1914, № 7. В «Собрании стихотворений в трех томах» (1928—1930) печаталось в цикле «Сарматские песни». *Перун* — в славянской мифологии олицетворение водно-небесной и грозовой стихии, особенно почитался у западных славян; при Владимире-Крестителе был выдвинут как верховный бог-покровитель дружинно-княжеской среды.

**Сегодня.** Печаталось как вступление к книге «Бомба». Написано во Владивостоке к первомайской годовщине 1920 г. В то время в городе хозяйничали японские интервенты.

**Небо революции.** Впервые — Творчество, 1920, № 1.

**Стихи сегодняшнего дня.** Впервые — Дальневосточное обозрение. Владивосток, 1918, под заглавием «Тайга».

**Заржавленная лира.** Впервые — Творчество, 1920, № 5. *Оксана! Жемчужина мира!* — обращено к жене поэта Ксении Михайловне Асеевой, урожденной Синяковой. Сокращенно: Окжемир.

**Первомайский гимн.** Впервые — альманах «Первое мая 1921». Читя, 1921.

**Кумач.** *Красные ворота* — триумфальная арка в Москве на Садовом кольце; снесена в 1928 г.

**О нем.** В книге «Совет ветров» печаталось под заглавием «Стальной соловей».

**Наигрыш.** *Грайворон* — город в Курской обл. *Звенигород* — город в Подмосковье. *Яблоневый хребет* — горное образование в Восточной Сибири.

**Гастев.** Впервые — Красная новь, 1922, № 4. *Алексей Капито-*



*нович Гастев* (1882—1941) — общественный деятель, организатор Центрального института труда, один из теоретиков Пролеткульта.

*В стоны стали.* Впервые — альманах «Круг». М., 1923. «*Гужон*» — металлургический завод в Петрограде.

*Жар-птица в городе.* Впервые — Наши дни, 1922, № 2. *Майоран* — душистое растение.

*Лирическое отступление.* Поэма. Впервые — Леф, 1924, № 2, с подзаголовком «Дневник в стихах». *Хитрованцы* — обитатели ночлежек на Хитровом рынке в Москве 20-х гг. «*Полтава*» — поэма А. С. Пушкина; ср. у Маяковского в «Юбилейном» (1924): «...битвы революций посерьезнее «Полтавы», и любовь пограндиознее онегинской любви». Стихотворение Маяковского было напечатано в том же номере, где и «Лирическое отступление». Маяковский выступал против крохоборческого следования пушкинской традиции «академической школой» тех лет. *А покамест сбивают биржи с гранитных катушек...* — имеется в виду кризис, охвативший Европу в те годы. *Шейдеман* — немецкий социал-демократ, выступивший в 1924 г. с антисоветскими выпадами. *Стиннес* — немецкий промышленник. *Макдональд* — один из лидеров лейбористской партии в Великобритании, глава первого лейбористского правительства. *Пусть в Германии лица строги и Болгария в прах разбита* — революционный кризис в Германии закончился поражением пролетариата к концу 1923 г.; в сентябре 1923 г. было подавлено восстание против фашистского режима в Болгарии. *Мой дневник! Не стань анекдотом лорелейной грусти* — в немецкой легенде повествуется о том, как Лорелея завораживала своим пением рыбаков, которые разбивались о скалы у берегов Рейна. *Мы долгов не платим и платить не будем* — в 1922 г. Великобритания и Франция потребовали на Генуэзской конференции признания Советским государством долгов царского и Временного правительств. Советская делегация по указанию В. И. Ленина отвергла эти претензии. *И когда колытавшимся газом плыли беды...* — Германия в первую мировую войну впервые применила химические отравляющие вещества.

*В те дни, как были мы молоды...* *Велимир Хлебников* (1885—1922) — русский поэт, участник многих футуристических сборников. Умер 28 июня 1922 г. в новгородской д. Санталово. Был похо-

рошен на погосте д. Ручьи. В 1960 г. прах поэта перезахоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. В статье-некрологе В. Маяковский писал: «Во имя сохранения правильной литературной перспективы считаю долгом черным по белому напечатать от своего имени и, не сомпеваюсь, от имени моих друзей, поэтов Асеева, Бурлюка, Крученых, Каменского, Пастернака, что считали его и считаем одним из наших поэтических учителей и великолепнейшим и честнейшим рыцарем в нашей поэтической борьбе». *Да здравствует Революция, сломившая власть стариков!* — в футуристическом манифесте «Труба марсиан» провозглашалось: «Пусть возрасты разделятся и живут отдельно... Развод возрастов, право отдельного бытия и деления»; ср. в стихотворении Маяковского «Мы идем» (1919): «Победители, шествуем по свету сквозь рев стариков злущий».

**Поэма.** Впервые — Красная нива, 1924, № 44. *Бои у Никитских ворот* — речь идет о решающем сражении восставших рабочих с юнкерами у Никитских ворот в Москве в октябре 1917 г., о чем свидетельствует теперь мемориальная доска на доме № 23 по ул. Герцена.

**Реквием.** Впервые — Мол. гвардия, 1924, № 2—3. В сборнике «О Ленине» (1939) печаталось под заглавием «Прощальная песня».

**Свердловская буря.** Поэма. Впервые — Красная новь, 1925, № 9. *Свердловец* — слушатель Коммунистической академии им. Я. М. Свердлова. *МОПР* — международная организация помощи борцам революции (1922—1947). *Но мы не забудем его нипочем* — воронежского болота — в районе г. Воронежа были разбиты белогвардейские части Мамонтова и Шкуро, чем было положено начало разгрому армии генерала Деникина.

«Не за силу, не за качество...» Впервые — Новые стихи, М., 1926. *Оксана* — жена поэта К. М. Асеева (Синякова).

**Декабрьский туман.** Впервые — Новый мир, 1926, № 3. ...с того декабрия... — имеется в виду восстание 14 декабря 1825 г. на Сенатской площади. *Чернышев мост* — цепной мост через Фонтанку в Петербурге, теперь — мост Ломоносова.

**Синие гусары.** Впервые — Новый мир, 1926, № 3.

**Заплыв.** Впервые — Мол. гвардия, 1926, № 7.

Свет мой... Впервые — Новый Леф, 1927, № 1, в цикле «Песни с позвоночками» под заглавием «Зимняя, спешная» с общим для всего цикла эпиграфом — цитатой из стихотворения Фета «Ветер злой, крутой в поле...»:

*При луне, на версте  
Мороз — огонечками.  
Про живых весть донес —  
Песню с позвоночками.*

Цитата неточная. У Фета:

*Про живых ветер весть пронес  
С позвоночками.*

Название цикла навеяно стихами Фета.

**Звени, молодость.** Впервые — Новый Леф, 1927, № 1, в цикле «Песни с позвоночками».

**За сияние дни.** Впервые — Октябрь, 1927, № 7, под заглавием «Курортная беспризорная». *Декапод* — марка паровоза.

**Чужая.** (Из цикла). Впервые — Октябрь, 1928, № 7, с подзаголовком «Семь стихотворений».

**Десятый Октябрь.** Впервые — Правда, 1927, 6—7 ноября.

**Дыханье эпохи.** Впервые — Звезда, 1928, № 8. *Хипесница* — проститутка, обкрадывающая своих клиентов.

**Курские края.** Цикл складывался постепенно. Отдельные стихотворения цикла печатались в различных периодических изданиях начиная с 1926 г. Заключительные строки цикла о Курской битве написаны в 1943 г. *Тускорь* — река, протекающая через Курск. *Нижни Деревеньки* — поселок в Льговском районе Курской области, славившийся своими ярмарками. *«Лебеда»* — охотничье ружье, названное по имени мастера. *Огненными витрами сразу пять солнц* — об удивительном явлении природы, которое поразило Асеева в детстве, он писал в очерке «Путь в поэзию». *Полторацкого номера* — номера в гостинице Полторацкого в Курске. *То ли клики в военном стане...* — навеяно образами «Слова о полку Игореве».

**Марш Буденного.** Впервые — Мол. гвардия, 1923, № 2, под заглавием «Конная Буденного».

А. А. Ахматовой. Впервые — Лит. Россия, 1966, 16 сентября.

О смерти. Впервые — сб. «Обнова». Л., 1934.

Послесловие. Впервые — Известия, 1934, 6 октября, под заглавием «Разговор с Краматорском». *Крупн* — владелец металлургических и военных заводов в Германии. *Шнейдер-Крезю* — владелец военных заводов во Франции. *Сквозная бригада* — объединение рабочих разных профессий, последовательно выполняющих операции всего технологического процесса.

Летнее письмо. Впервые — Новый мир, 1934, № 11.

Вдохновение. Впервые — Правда, 1934, 18 августа.

Счастье. Впервые — Известия, 1935, 1 марта.

Северный Кавказ. Впервые — Известия, 1934, 30 сентября, под заглавием «Кавказ». *Картвели* — так называют себя грузины.

Водопад Муруджу. *Муруджу* — водопад на реке Уллу-Муруджу в Домбае.

Роман прошлого года. Впервые — Звезда, 1936, № 4, под заглавием «Роман позапрошлого года», с подзаголовком «Весна 1932», без стихотворения 5.

Маяковский начинается. Главы из поэмы. Отдельные главы печатались в «Звезде», «Октябре», «Новом мире», в «Литературной газете» и др. изданиях начиная с 1937 г. Впервые полностью: Асеев Н. Маяковский начинается. Повесть в стихах. М., 1940 (Роман-газета, № 3).

Глава «Косой дождь». *Плыла любовная лодочка* — ср. в «Неоконченном» Маяковского: «Любовная лодка разбилась о быт». *Я хочу быть понятой моей страной...* — строки из черного варианта стихотворения Маяковского «Домой!». *В стихах его имя мое — не ваше — четырежды упомянуто* — Маяковский упоминал Асеева в стихотворениях «Юбилейное», «Массам непонятно», «Голубой лампас», в киносценарии «Как поживаете?». *«Про это»* — поэма Маяковского. *А он любил, как дрова рубил...* — ср. в стихотворении Маяковского «Письмо товарищу Кострову...»: «Любить — это значит: в глубь двора вбежать и до ночи грачей, блестя топором, рубить дрова, силой своей играючи». *До пули в конце вниманье к стиху вымаливая* — ср. в поэме Маяковского «Флей-

та-позвоночник»: «Все чаще думаю — не поставить ли лучше точку пули в своем конце».

Глава «Площадь Маяковского». *Place de la Concorde* — площадь Согласия в Париже. *Триумфальная* — старое название площади Маяковского. *Кудринские вышки* — Кудринская площадь в Москве, теперь — площадь Восстания.

Вторая Отечественная. Название раздела дано по книге «Памяти лет» (М., 1956), где так назван цикл стихов, написанных в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. В раздел включены также стихи, опубликованные после войны.

Письма к жене, которые не были посланы. Впервые — сб. «Самые мои стихи». М., 1962.

Созидателю. Впервые — Пламя победы. Л., 1946.

«Вещи — для всего народа...» Впервые — Разполетье. М., 1950.

Глядя в небеса. Впервые — Дружба народов, 1955, № 2, под заглавием «Следя полет облаков».

Двое идут. Впервые — Разполетье. М., 1950.

Снегири; Чернобровцы. Впервые — Раздумья. М., 1955.

Ива. Впервые — Новый мир, 1951, № 8.

Еще за деньги люди держатся. Впервые — День поэзии. М., 1956. *Керженец* — левый приток Волги; в прошлом этот район был одним из центров раскольников.

Соловей. Впервые — День поэзии. М., 1956.

Памятник. Впервые — Литературная Москва. М., 1956. *Новодевичий вид не по нраву* — Маяковский похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

«Стихи мои из мяты и полыни...» Впервые — Огонек, 1956, № 3.

«Что такое счастье? Соучастье...» Впервые — День поэзии. М., 1957, под заглавием «Счастье».

Остаться самим собой. Впервые — Дружба народов, 1958, № 8.

Песнь о Гарсиа Лорке. Впервые — Литературная жизнь, 1958, 9 мая.

Звездные стихи. Первоначальная публикация отдельных стихотворений в «Дружбе народов», в «Комсомольской правде», в книге «Самое лучшее» (1959). *Звезда говорит со звездой*... — ср. стихотворение М. Ю. Лермонтова «Выхожу один я на дорогу». *Шестое? Де-*

*вятое чувство?* — ср. в стихотворении Л. Н. Мартынова «Седьмое чувство» (1952): «Тоньше и тоньше становятся чувства, их уж не пять, а шесть». *Альберт Эйнштейн* (1879—1955) — физик, автор теории относительности.

**К другу-стихотворцу.** Обращено к поэту Л. Н. Мартынову (1905—1980). *«Музыкальный ящик»* — стихотворение Мартынова. *Я сам писал про соловья стального* — см. стихотворение Асеева «О нем».

**Семидесятое лето.** Впервые — Известия, 1959, 7 августа. *Семидесятое лето* — Асеев родился 27 июня (ст. стиля) 1889 г.

**Решение.** Впервые — Учительская газета, 1960, 2 февраля, в цикле «Грустные стихи».

**Зерно слов.** Впервые — Мол. гвардия, 1961, № 1.

**Посещение.** Впервые — Москва, 1960, № 1. *Дыхание, дух, душа — одно ли это?* — в статье «Опыт и вдохновение» (1960) Асеев писал: «Ведь стоит вдуматься в происхождение этого слова... Корень слова — «вдох» — первая половина полного человеческого дыхания. В народной этимологии «вдох», «душа», «вздох» — однозначны, все они составляют дыхание, а значит, и жизнь... Переносное же, образное значение прилагается к предметам или понятиям, одухотворяющимся через придание им дыхания. «Душевный разговор», «вдохновенная речь».

**Мед и яд.** Впервые — Октябрь, 1960, № 10.

**Июнь.** Впервые — Избр. произведения в двух томах. М., 1953, т. 1.

**Дом.** Впервые — Дружба народов, 1955, № 2.

**Ромео и Джульетта.** Впервые — Дружба народов, 1955, № 12.

**Пять сестер.** Пять сестер — сестры Синяковы, с которыми дружески были связаны Асеев, Хлебников, Маяковский: Зинаида Михайловна Мамонова, оперная певица; Ксения Михайловна Асеева, жена Асеева; Вера Михайловна Гехт; Мария Михайловна Синякова-Уречина, художница; Надежда Михайловна Пичета, пианистка. **Живой.** Впервые — Москва, 1963, № 8.

**Когда приходит в мир...** Впервые — Лит. Россия, 1966, 16 сентября.

## СОДЕРЖАНИЕ<sup>1</sup>

Путь в поэзию. <i>Николай Асеев</i> . . . . .	5
---	---

### СТИХОТВОРЕНИЯ

#### НОЧНАЯ ФЛЕЙТА 1914

Старинное . . . . .	17	257
Москве . . . . .	18	»
Фантазмагория . . . . .	19	»

#### ЗОР 1914

Звенчаль . . . . .	20	»
Гремль . . . . .	21	»
«Не спасти худым ковуям...» . . . . .	23	258

#### ЛЕТОРЕЙ 1915

Объявление . . . . .	24	»
Морской шум . . . . .	24	

#### ЧЕТВЕРТАЯ КНИГА СТИХОВ 1916

Повей война . . . . .	26	»
«Еще! Исковерканный страхом...» . . . . .	27	

---

<sup>1</sup> Первая цифра обозначает страницу текста, вторая (курсивом) — страницу примечания.

«За отряд улетевших уток...» . . . . .	28	258
Через гром . . . . .	29	

#### ОКСАНА 1916

Кремлевская стена . . . . .	30	259
«Ой, в пляс, в пляс, в пляс!..» . . . . .	31	»
«Перуне, Перуне...» . . . . .	32	»
«Ушла от меня, убежала...» . . . . .	32	
«Я буду волком или шелком...» . . . . .	33	

#### БОМБА 1921

Сегодня . . . . .	34	»
Предчувствия . . . . .	35	
Небо революции . . . . .	37	»
Стихи сегодняшнего дня . . . . .	38	»
«Еще и осени не близко...» . . . . .	40	
Заржавленная лира . . . . .	41	»
Первомайский гимн . . . . .	44	»
Кумач . . . . .	45	»

#### СТАЛЬНОЙ СОЛОВЕЙ 1922

Россия падали . . . . .	48	
О нем . . . . .	49	»
Об обыкновенных . . . . .	50	
«Совет ветвей, совет ветров...» . . . . .	52	
Наигрыш . . . . .	54	»

#### СОВЕТ ВЕТРОВ 1923

Гастев . . . . .	55	»
В стоны стали . . . . .	57	260
Жар-птица в городе . . . . .	58	

#### ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ

Позма . . . . .	60	»
-----------------	----	---



# ОКТЯБРЬСКИЕ ПЕСНИ 1925

В те дни, как были мы молоды...	74	260
Новая кремлевская стена	76	
Поэма	79	261
Реквием	83	»

# СВЕРДЛОВСКАЯ БУРЯ

Поэма	85	»
-------	----	---

# ИЗМОРОЗЬ 1927

Эстафета	93	
Русская сказка	94	
«Не за силу, не за качество...»	99	»
Декабрьский туман	100	»
Синие гусары	102	»

# ВРЕМЯ ЛУЧШИХ 1927

Время лучших	105	
Заплыв	107	»
Уличные стихи	109	

# ОРАНЖЕВЫЙ СВЕТ 1928

Предгрозы	112	
Свет мой...	114	262
Звени, молодость	115	»
За синие дни	117	»

# ЧУЖАЯ

«Глаза насмешливые сужая...»	118	»
«Летят недели кувырко...»	119	
«Слушай, Анни, твое дыхание...»	120	
«Не будет тона сирого...»	122	

# РАБОТА НАД СТИХОМ 1929

Десятый Октябрь . . . . .	123	262
Дыханье эпохи . . . . .	128	»

## КУРСКИЕ КРАЯ

Вступление . . . . .	131	»
Дом . . . . .	133	
Дед . . . . .	135	
Бабка . . . . .	136	
Мальчик большеголовый . . . . .	138	
Детство . . . . .	139	
Город Курск . . . . .	142	

## СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

Марш Буденного . . . . .	146	262
А. А. Ахматовой . . . . .	147	263
О смерти . . . . .	148	»
Послесловие . . . . .	149	»

## ВЫСОКОГОРНЫЕ СТИХИ 1938

Летнее письмо . . . . .	150	»
Вдохновенье . . . . .	152	»
Счастье . . . . .	154	»
Северный Кавказ . . . . .	155	1
Водопад Муруджу . . . . .	158	»
Роман прошлого года . . . . .	159	»

## МАЯКОВСКИЙ НАЧИНАЕТСЯ

(Главы из поэмы)

Маяковский рядом . . . . .	162
Косой дождь . . . . .	171

Площадь Маяковского . . . . .	181
Эпилог . . . . .	187

## ВТОРАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ

Победа будет за нами! . . . . .	190	264
Полет пуль . . . . .	191	
Это — медленный рассказ... . . . .	193	
На выставке «Комсомол в Отечественной войне» . . . . .	196	
Письма к жене, которые не были посланы . . . . .	199	»
Надежда . . . . .	204	

## РАЗНОЛЕТЬЕ

Созидателю . . . . .	206	»
«Вещи — для всего народа...» . . . . .	207	»
Глядя в небеса . . . . .	207	»
Двое идут . . . . .	208	»
Снегири . . . . .	209	»
Чернобровцы . . . . .	210	»

## ЛАД 1981

Ива . . . . .	211	»
Еще за деньги люди держатся . . . . .	211	»
Соловей . . . . .	213	»
Памятник . . . . .	215	»
«Стихи мои из мяты и полыни...» . . . . .	216	»
«Что такое счастье? Соучастье...» . . . . .	217	»
Оставаться самим собой . . . . .	218	»
Песнь о Гарсиа Лорке . . . . .	219	»
Звездные стихи . . . . .	220	»
К другу-стихотворцу . . . . .	224	265
Семидесятое лето . . . . .	225	»
Решение . . . . .	226	»

Зерно слов . . . . .	227	265
Посещение . . . . .	228	»
Мед и яд . . . . .	229	»
Простые строки . . . . .	229	

#### СТИХИ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

Июнь . . . . .	232	»
Дом . . . . .	232	»
Ромео и Джульетта . . . . .	233	»
Пять сестер . . . . .	234	»
Бессонные стихи . . . . .	235	
Живой . . . . .	236	»
Когда приходит в мир... . . . .	238	»
О лирике Асеева. <i>Вл. Мильков</i> . . . .	240	
Примечания . . . . .	256	

**Николай Николаевич Асеев**

## **СТИХОТВОРЕНИЯ**

Редактор С. В. Музыченко  
Художественный редактор Е. Ф. Николаева  
Технический редактор Р. Д. Каликштейн  
Корректор Т. А. Лебедева

ИБ № 2296

Сдано в наб. 05.05.83. Подп. в печать 31.08.83. А01409.  
Формат 70×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага типогр. № 1. Гарнитура  
обыкновенная новая. Печать высокая. Усл. п. л. 11,90.  
Усл. кр.-отт. 13,30. Уч.-изд. л. 11,61. Тираж 100 000 экз.  
Заказ 219. Цена 1 р. 20 к. Изд. инд. ЛХП-173.

Ордена «Знак Почета» издательство «Советская Рос-  
сия» Государственного комитета РСФСР по делам из-  
дательства, полиграфии и книжной торговли. Москва,  
пр. Сапунова, 13/15.

Книжная фабрика № 1 Росглавполиграфпрома Госу-  
дарственного комитета РСФСР по делам издательства,  
полиграфии и книжной торговли, г. Электросталь Мо-  
сковской области, ул. им. Тевосяна, 25.





